

КОНСТАНТИН КЕВОРКЯН

ФРОНДА



**БЛЕСК И НИЧТОЖЕСТВО
СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ**

Константин Кеворкян

**Фронда. Блеск и ничтожество
советской интеллигенции**

«Книжный мир»

2019

УДК 32.019.5
ББК 63.3(2)6-7

Кеворкян К. Э.

Фронда. Блеск и ничтожество советской интеллигенции /
К. Э. Кеворкян — «Книжный мир», 2019

ISBN 978-5-6041886-6-8

Интеллигенция – понятие чисто русское, мало прижившееся в других языках, подразумевающее некую касту образованных людей, в той или иной степени радеющих об общественном благе. Когда-то под знамёнами либерализма и социализма они приняли самое непосредственное участие в разрушении Российской империи. Но и в новой, советской жизни «инженеры человеческих душ» чувствовали себя обделенными властью и объявили тайную войну подкармливавшему их общественному строю. Жизнь со славословиями на официальных трибунах и критикой на домашних кухнях привела советскую интеллигенцию к абсолютному двоемыслию. Полагая, что они обладают тайным знанием рецепта универсального счастья, интеллигенты осатанело разрушали СССР, но так и не смогли предложить обществу хоть что-нибудь жизнеспособное. И снова остались у разбитого корыта своих благих надежд и неутомимых желаний. Это книга написана интеллигентом об интеллигенции. О стране, которую она создала и последовательно уничтожала. Почему отечественная интеллигенция обречена повторять одни и те же ошибки на протяжении всего своего существования? Да и вообще – существовала ли она, уникальная советская интеллигенция? Исчерпывающие ответы на эти вопросы в книге известного публициста Константина Кеворкяна.

УДК 32.019.5
ББК 63.3(2)6-7

ISBN 978-5-6041886-6-8

© Кеворкян К. Э., 2019

© Книжный мир, 2019

Содержание

Юрий Поляков	7
Вступление	8
I	9
II	11
III	16
IV	22
Глава 1	24
I	24
II	27
III	30
IV	34
V	37
VI	41
VII	47
Глава 2	51
I	51
II	55
III	60
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Константин Эрвантович Кеворкян
Фронда. Блеск и ничтожество
советской интеллигенции

© К.Э. Кеворкян, 2019

© Ю.М. Поляков, предисловие 2019

Юрий Поляков

Интеллигентам об интеллигенции

Книга Константина Кеворкяна «Фронда. Блеск и ничтожество советской интеллигенции» чрезвычайно необычна. Увидеть в разноголосом шуме отечественной литературы XX века объединяющие её начала, подсознательные рефлексy целого слоя населения, увязать воедино экономику, внешнюю и внутреннюю политику, помножить их на огромное количество конкретных человеческих судеб – по силам далеко не каждому литератору.

Это вторая книга Кеворкяна, изданная в России после сборника публицистики «Братья и небратья» – весьма сильной, на мой взгляд, работе, посвящённой взаимоотношениям Украины и России. Но если там речь шла пусть об очень близком, но все-таки ином государстве, то здесь разговор непосредственно о нас. Об образованном слое людей, к которому причисляет себя большинство читающей публики; о бесконечно пытавшейся управлять Россией интеллигенции, которая не раз приводила свой народ и государство к катастрофе.

Хотя книга читается довольно легко, но чтение это умное, заставляющее пересмотреть многие наши взгляды на день вчерашний и день сегодняшний. Огромный поток новой или малоизвестной информации, свежий взгляд на давно известные события, сотни задействованных первоисточников – все это даёт основания говорить о прорыве в изучении истории отечественной интеллигенции, когда её страсти и пороки из тайного знания для избранных становятся поводом для настоящего научного осмысления.

Юрий Поляков,
писатель, публицист, драматург,
председатель Гильдии драматургов России,
Председатель редакционного совета
«Литературной газеты»

Вступление

Детям – для понимания

Эта книга субъективна, ибо в ней содержатся сотни мнений литераторов, людей искусства, политиков и рядовых граждан, которые вспоминают свои прожитые годы. И каждый из них видит истину по-своему.

Эта книга объективна, поскольку эти отдельные голоса складываются в общественное мнение, определявшее смыслы эпохи. Дух времени часто ускользает от историков, больше оперирующих сухими цифрами дат и статистических отчетов. Но цифры без человеческих судеб – это уже не сама жизнь.

Это компиляция – автор сознательно минимизировал свое участие, стремясь к тому, чтобы говорили люди и документы (подробный список использованной литературы в разделе «Библиография»). Но это и творческая работа, поскольку собранные мнения композиционно служат раскрытию единого замысла, а комментарии к ним сохраняют авторскую интонацию.

Так, во всяком случае, кажется мне, хотя моё мнение и субъективно – см. сначала.

I

Я работал над «Опасной книгой» – так называлось исследование, посвященное истории нацистской пропаганды. Естественно, по ходу дела мне приходилось просматривать множество фотографий, плакатов и кинохроники той эпохи. Затертые фото, черно-белая невысокого качества хроника... Десятилетия отделяли меня от драматических и кровавых событий того времени. Зная о моих поисках, друзья из США передали мне уникальные кадры оккупированного Харькова, цветную кинохронику 1942 года. Словно пелена упала с глаз, я увидел события такими, какими их помнили мой отец и мать, пережившие оккупацию. Цвет придал жизненность давним событиям: по знакомым с детства улицам Харькова ехала фашистская боевая техника, маршировал отряд немецких медсестер, на Благовещенском базаре одетые в лохмотья старухи просили подаяние. Будто включил телевизор и посмотрел выпуск вечерних новостей. Одно дело понимать историю разумом, другое – прочувствовать сердцем, прожить эмоциями. Реалистичность увиденного произвела на меня сильное впечатление и помогла остро ощутить то, что люди, жившие до нас, видели мир не менее ярко, чем мы, испытывали грандиозные страсти, горе, ужас, любовь...

Вроде бы очевидные истины... Так на каком же основании мы отказываем целой эпохе в ярких жизненных красках и почему так мало знаем о ней!? Многие вопросы сегодняшнего дня имеют свои ответы именно в советском прошлом – хочется кому-то этого или нет. Его нельзя перемотать как надоевший фильм – десятки миллионов людей страдали и любили, создавали наш мир и самих нас.

Человеку всегда хочется понять ход жизни: то ли придумать машину времени и познать прошлое, то ли предсказать будущее. Вот, к примеру, гениальный русский поэт Велимир Хлебников доказывал окружающим, что крупные события происходят каждые триста семнадцать лет, потом вывел новую константу, равную 84 годам. В отличие от гения, мы, простые смертные, измеряем отмеренные нам времена рождающимися поколениями, детьми, внуками. И наши внутренние ощущения подтверждает фундаментальная «Теория поколений» социологов Нейла Хоува и Уильяма Штрауса. Она научно обосновывает, что 12–14 лет – это средний возраст, когда каждое новое поколение вступает в жизнь и обретает собственные цели.

История бурь, сотрясавших наше Отечество в прошлом и нынешнем веке, является наглядным тому подтверждением. Начиная с революции 1905 года, ставшей поворотным этапом в развитии Российской империи, последовательно шли 1917 год, 1929 – год «Великого перелома», трагический 1941, смерть Сталина в 1953 году, ознаменовавшая новую веху в развитии СССР, начало брежневской эпохи – 1964–1965 годы. Дата следующего переломного цикла оказалась пропущена, пришлась на эпоху глухого застоя. Не нашедшие своего естественного выхода силы нового поколения скопились до взрывоопасной смеси, разметавшей страну в 1989–1991 годах.

Каждому поколению приходится доказывать собственную значимость в истории, завоевывать свое место под солнцем, оттесняя старших, нередко революционным путем. Такова удивительная особенность нашей страны: история меряется революциями, сломами, скачками. Между тем, обычная жизнь человеческая, текущая каждодневно, подобно реке, привлекает куда меньшее внимание историков и социологов. Общественные науки ссылаются на классиков, умопостроения строятся на авторитетных ссылках, а не на живых документах эпохи. Но «социология жизни» в ее ежедневном разнообразии не поддается универсальным формулам счастья, она рождается из жизни каждого человека в ее бесконечном переплетении с другими существами, во взаимодействии со средой обитания, социальными институтами. Эта жизнь уникальна и неповторима по сути своей – от таинства зачатия, броуновского движения жизни

и ее утраты навсегда. Нас пытаются втиснуть в трафареты очередной идеологии, и, постфактум, идеология диктует волю истории – жизнь подменяется формулами.

«История наступает, когда умирает последний живой свидетель времени», – говорил выдающийся историк и социолог Лев Гумилев. Каждый день современность уносит от нас эпоху с ее уникальными носителями былого знания и дает волю домыслам. Тем ценнее свидетельства ее непосредственных участников. Мы можем осмыслить историю только если поймем мотивировку событий и поступков, состояние души разных людей в разное время – «способ мышления», как определял этот феномен философ Карл Манхейм.

«История – это, прежде всего, психология времени, психология общества, то есть психология отдельных людей, живших или живущих в нем», – удачно, на мой взгляд, сформулировал эту идею публицист Генрих Боровик в предисловии к книге воспоминаний знаменитого карикатуриста Бориса Ефимова, которую мы еще не раз будем цитировать в дальнейшем¹ (1).

Бесперспективно подходить к пониманию конкретного времени, пользуясь аршином сегодняшнего дня. Пытаясь понять прошлое, мы примеряем на конкретных людей **наши** представления о жизни, сформированные современной школой, СМИ, государственными институтами, и, конечно, же, получаем результат очень далекий от действительности. «Сейчас у молодого поколения, читающего о тяготах, ужасах и кровавых расправах 1930-х годов, создается впечатление, будто жизнь в Советском Союзе была тогда беспросветной, мрачной, полной страха, горя и слез. Это и так, и не так. Те, кого не коснулась беспощадная рука террора, жили, как и везде, своими заботами и радостями. Видя, что положение улучшается, люди надеялись на дальнейший прогресс и полагали, что худшее осталось позади. Молодежь в большинстве своем снова заразилась энтузиазмом, работала, училась, дурачилась, влюблялась, словом, жила полной жизнью» (2).

В какой-то степени эта книга попытка понять поколение наших отцов и дедов, опираясь на их живые свидетельства и логику развития страны.

¹ Здесь и далее – ссылки на источники в конце книги.

II

В записных книжках писателя Венедикта Ерофеева прописан короткий диалог:

– Кем ты работаешь?

– Фальсификатором истории... (3)

О, эта профессия всегда была востребована на просторах нашей родины! Пожалуй, ни в одной стране мира не было такого многолетнего, целенаправленного политического воспитания, работы над созданием определенного общественного мнения, самого строя мысли. И, тем не менее, могучая вроде бы система внезапно рухнула, погребая под своими обломками и само государство, и жизни сотен тысяч людей. Расхожие штампы сегодняшнего дня – «победа демократии», «цивилизованный путь развития», «независимость» и прочее не могут дать логического объяснения, почему культурная часть общества искренне приветствует самоубийственный развал государства, нищету сограждан, превращение собственной среды обитания в некий вариант банановой республики?

Видимо, причины глубже – в некоем могучем стереотипе поведения, лежащем в самой основе культуры нации. Сутью же культуры являются язык, религия, ценности, традиции и обычаи общества. Если интеллигенция считает, что нынешнее время, несмотря на его очевидную абсурдность и деградацию, несоизмеримо лучше прошлого, значит, тому есть веские причины, лежащие в основе ее мировоззрения. Что же это за уникальное мировоззрение, которое вполне искренне позволяет гибко приспосабливаться под реалии дикого капитализма, находить силы превозносить его как эталон свободы, да и вообще – что такое «свобода» в отечественном понимании, чем она отличается от понимания свободы на Западе? «Если русские пьют кока-колу, это не означает, что они мыслят подобно американцам» (С. Хантингтон).

Начнем с терминов. Имеется два определения интеллигенции: европейское, объясняющее феномен именно «русской» интеллигенции – «слой общества, воспитанный в расчете на участие в управлении обществом, но за отсутствием вакансий оставшийся со своим образованием не у дел»², и советское – «прослойка общества, обслуживающая господствующий класс». Первое определение перекликается с привычным нам ощущением, будто интеллигенция, прежде всего, оппозиционна: когда тебе не дают места, на которое ты рассчитывал, ты, естественно, начинаешь злиться. Второе, которое без лирики, подразумевает, что власть для управления нуждается не только в полицейском, но и в духовном насилии над массами (религия, образование, СМИ), и пользуется для того интеллектуальными средствами из арсенала интеллигенции (4).

В этой раздвоенности – желании получить место, а потом в сотрудничестве с властью употребить его для управления народом (кто-то же должен реализовывать прекраснодушные планы), состоит особая прелесть интеллигентского дискурса. Она хочет управлять, эксплуатировать и очень обижается, если ее мнение не берут в расчет истинные власть имущие – вот вам и «лишние люди», и «потерянные поколения».

Но далеко не всегда интеллигенция способна управлять – даже если очень того желает. Здесь и фактор индивидуализма, свойственный большинству интеллектуалов, и нежелание подчиняться государственной дисциплине, и элементарная переоценка своих физических и умственных сил. Зато мы можем спорить до хрипоты о пути развития общества и соответствии его нашему представлению о прекрасном. Особого внимания заслуживает «либеральная интеллигенция», то есть слой интеллектуалов, исповедующих «либеральные ценности» – превалирование прав личности над правом государства, демократию, свободу слова, ратующие за саморегулирующуюся (рыночную) экономику и т. д. Они слынут, да и, по сути, являются

² Слово *intelligentsia* в этом смысле заимствовано как раз из русского языка.

«западниками» – людьми, полагающими, что модель Западной Европы и США наиболее отвечает чаяниям людей, а потому усиленно содействующими её пропаганде в политике и экономике своих стран. А еще из подвидов имелись «белая» и «красная» интеллигенция, сегодня в моде «демократическая» и «патриотическая» интеллигенция, существуют «техническая», «научная» и «творческая» интеллигенции... В общем, несть им числа.

Исходное понятие было весьма деликатным и обозначало появление среди образованного населения Российской империи прослойки людей, ориентированной на преодоление глубокого внутреннего разлада, возникшего между народом, имперским государством и ними. «В этом смысле интеллигенции не существовало нигде, ни в одной другой стране, никогда... Никто не был до такой степени, как русский интеллигент, отчужден от своей страны, своего государства, никто, как он, не чувствовал себя настолько чужим – не другому человеку, не обществу, не Богу, но своей земле, своему народу, своей государственной власти» (5).

Обе революции 1917 года, навсегда перевернувшие бытие одной шестой части суши, готовили и пестовали как раз интеллигентные люди. И в то же время 1917 год стал идейным крахом «революционно-гуманистической» классической интеллигенции: ей пришлось от одиночного террора, от подпольных кружков и необузданной общественной критики правительства перейти к реальным государственным действиям. Реальные действия подразумевают конкретику, исполнительность, дисциплину. То есть те качества, которые у местной интеллигенции и не имелись, и не появились до сегодняшнего дня.

А. Солженицын: «Интеллигенция оказалась неспособна к... действиям, сробела, запуталась, ее партийные вожди легко отрекались от власти и руководства, которые издали казались им такими желанными, – и власть, как обжигающий шар, отталкиваемая от рук к рукам, докатилась до тех, что ловили её и были кожей приготовлены к её накалу (впрочем, тоже интеллигентские руки, но особенные)» (6).

Вспомним, что вождь Октябрьской революции В. Ленин был выходцем из образованной семьи, закончил университет (даже служил помощником присяжного поверенного) и сам был интеллектуалом, хотя и клял интеллигенцию на чем свет стоит. «Ульянов – фигура сложная, но его отношение к интеллигенции я не разделяю ни в какой степени хотя бы потому, что сам он интеллигент, и правильно Егор Яковлев³ говорил, что эта ненависть к прослойке имела у него, безусловно, характер самоненависти», – указывает популярный российский писатель и либеральный оппозиционер Д. Быков (7).

Откуда же взялся феномен Ленина? Н. Бердяев в своей основополагающей работе «Истоки и смысл русского коммунизма» подробнейшим образом анализирует роль интеллигенции в свершившейся революции: «Вся история русской интеллигенции подготовляла коммунизм. В коммунизм вошли знакомые черты: жажда социальной справедливости и равенства, признание классов трудящихся высшим человеческим типом, отвращение к капитализму и буржуазии, стремление к целостному мирозерцанию и целостному отношению к жизни, сектантская нетерпимость, подозрительное и враждебное отношение к культурной элите, исключительная посюсторонность, отрицание духа и духовных ценностей, приращение материализму почти теологического характера. Все эти черты всегда были свойственны русской революционной и даже просто радикальной интеллигенции... Старая революционная интеллигенция просто не думала о том, какой она будет, когда получит власть, она привыкла воспринимать себя безвластной и угнетенной, и властность, и угнетательство показались ей порождением совершенно другого, чужого ей типа, в то время как то было и их порождением» (8).

Д. Быков в эфире радио «Эхо Москвы» поделился следующим своим рассуждением: «Интеллигенция – это не то, чтобы самые умные, не то, чтобы занятые интеллектуальными какими-то вещами. Это люди, дающие моральную санкцию на то или иное поведение народу

³ Популярный советский журналист, один из идеологов перестройки.

или власти. Ну, вот, есть такая прослойка, которой народ по умолчанию доверил выдачу моральной санкции. Вообще, понятие моральной санкции в России – оно очень значимо. Вот, скажем, у Столыпина во время реформ этого понятия не было, и он остался вешателем. А у Ленина почему-то было. Потому что Ленин был воплощением многолетних чаяний той же самой интеллигенции, и плоть от плоти ее. Как он ее ни ругал, он был интеллигент – ничего с этим не сделаешь» (9).

Неспроста я беру сейчас и буду по ходу всей книги опираться на мнение не только историков или философов, но и писателей. Одной из наиболее характерных особенностей интеллигентского мировоззрения является его выраженная ориентация на художественную литературу. Ориентация эта двоякая, она в равной мере касается как самого художественного текста, так и всей сферы бытия, в которой книга создавалась. Образованному человеку в то книжное время свойственно было «лепить жизнь» с того или иного литературного персонажа (сейчас эту функцию во многом взяли «звезды» шоу-бизнеса), равно как и трактовать любую жизненную ситуацию сквозь призму литературы (так сегодня некоторые популярные телесериалы влияют на эмоциональное поведение целых групп людей). То есть жизнь по отношению к литературе оказывалась вторична. И до сих пор, когда заходит речь о типичных интеллигентах, то в качестве примеров таковых фигурируют не столько реальные люди, сколько литературные персонажи, которые выступают в качестве «эталонных» интеллигентов.

Орудием деятельности русской интеллигенции стала, прежде всего, литература. Русскую классическую литературу восторженные почитатели даже характеризовали как «наследницу и заместительницу средневековой учительной литературы» (Б. Успенский), то есть провозглашали едва ли не единственным источником достоверных знаний о внешнем мире. Литература поучала, клеймила, негодовала. А с наступлением эры всеобщей грамотности целые поколения советских школьников послушно впитывали в себя интеллигентские стереотипы – от «лишних людей» (Онегин и компания) до образа народа в лице Платона Каратаева. Литературные персонажи воспринимались как символы, часто – как примеры для подражания. А их изобретатели числились своеобразными гуру, нутряным образом слышавшими голос небес. «Поэт в России – больше, чем поэт!» Прозаик выше, чем прозаик... И вот уже писатель-бунтарь Эдуард Лимонов восклицает: «Я уверенно заявляю: человек в значительной мере есть то, что он читает. Ибо книги представляют определенные наборы идей, живых, или уже дохлых» (10).

Русская литература, особенно для интеллигенции – это набор неких идей. А идеи – штуки сложные, взрывные, особенно, ежели они находят отклик в читающих массах. «Литература – производство опасное, равное по вредности лишь изготовлению свинцовых белил» (М. Зощенко). Не стоит забывать, что практически все великие политики первой половины XX века работали со словом и делали это профессионально. Ленин, Троцкий, Гитлер, Муссолини, Черчилль, Рузвельт – все имели отношение к печатному слову, будучи сами писателями, журналистами, публицистами. Каменев, Зиновьев, Сталин, Молотов и прочие вожди революционной эпохи писали свои доклады собственноручно. Симптоматичны ночные кошмары, мучавшие уже глубокого старика В. Молотова: «Мне иногда снится, что завтра мне делать доклад, а я не готов... Тогда все сами писали» (11). Еще раз подчеркиваю: значение литературного слова тогдашние, весьма образованные по нынешним меркам правители осознавали и эффективно использовали. Имелось четкое понимание не просто того очевидного факта, что информация между людьми передается обыкновенно словами, но уверенность, что в психологической борьбе от мастерства владения словом, образом, метафорой, от расчетливо подобранного лозунга или определения может зависеть судьба целой страны. Для нашей косноязычной элиты, возможно, сей факт даже покажется преувеличением.

Итак, интеллигент – это, в первую очередь, литературный тип (вроде пресловутого «лишнего человека» – не случайно эти понятия перекликаются). Литературна его сущность и литературно его происхождение: даже само слово «интеллигент» впервые проскальзывает у писа-

теля П. Боборыкина⁴. То, что читает интеллигент, в той или иной степени оказывает на него влияние, особенно, если он разделяет мысли автора. Понимание «я не одинок в своих мыслях» сплачивает людей в связанный единым психологическим настроением круг единомышленников (на чем сегодня зиждется и феномен социальных сетей в интернете). А если эти книги становятся культовыми, если они сами превратились в символ, если цитаты из них являются паролем для узнавания себе подобных?

Советская литература, хотя и является прямой наследницей русской классической литературы, разительно отличается от нее в плане описания существующего общества. И связано это не только с изменением условий жизни, вытекающих из естественного развития человеческой цивилизации, но и со сменой самой общественной формации – рождением социализма советского образца и присущих ему уникальных реалий. Многие вещи мы до сих пор не можем объяснить нашим иностранным друзьям.

Инстинктивно чувствуя уникальность советского опыта, общество восславило именно те книги, которые подчеркивали отличие бытия советского человека, делали его неповторимым в масштабах земного шара. «Советская литература 1920-х годов примерно как нынешняя молодежь: на 90 процентов ужасна, но на оставшиеся 10 – гениальна, и если бы мы сегодня оказались современниками Платонова, Пастернака, Ильфа и Петрова, просто должны были благодарить судьбу...», – отмечает все тот же Д. Быков (12). В нашей работе, поскольку она не является литературоведческой, мы сконцентрируем описание литературного процесса, ограничим его анализом трех книг, которые стали культовыми для разных эпох существования Советской власти; истинных шедевров, хотя и дошедших до читателя в разное время, но которые оказали определяющее влияние на мировосприятие миллионов наших соотечественников.

Если мы посмотрим мемуары общественных деятелей и представителей советской культуры, нельзя не обратить внимание, как часто используется в них стилистика, а то и прямые цитаты из бессмертной дилогии об Остапе Бендере. Обаятельный персонаж, рожденный фантазией Ильи Ильфа и Евгения Петрова, стал культовым персонажем. Значительно меньше мы обращаем внимание, что авторы дотошно демонстрируют нам тщательно прописанное полотно всей советской жизни периода 1920-х и начала 1930-х годов. Между тем, вне окружающего контекста невозможно понять и в полной мере осмыслить успех дилогии, особенно во время хрущевской оттепели, когда они стали настольными книгами для подрастающего поколения. Реалистичность фона, на котором разворачиваются события, позволяют нам назвать диологию подлинной энциклопедией жизни в СССР.

Как впрочем, и другое культовое произведение эпохи – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Созданные современниками и друзьями – Ильфом/Петровым и Булгаковым – художественные произведения дошли до читателей порознь: «Мастер и Маргарита» опубликован только в середине 1960-х годов. Поэтическая история любви в тоталитарном государстве (впрочем, обычные интеллигенты его так еще не называли), религиозное наполнение (сенсация в атеистической стране) и сатирическая составляющая, зло обличающая то, что в тридцатые виделось отдельными недостатками, а в шестидесятые оказалось родовыми пятнами всего общественного строя, обусловили грандиозный успех книги. Знание «Мастера и Маргариты» до сих пор является признаком хоть какой-нибудь образованности.

И, наконец, получившая в «эпоху застоя» огромную популярность «поэма» (как ее именовал сам автор) Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Удивительный пример того, как самиздат смог породить и распространить многотысячными тиражами неказистую, казалось бы, историю едущего в электричке пьющего мужичонки – человека, ставшего символом поко-

⁴ Некий персонаж произносит слово «интеллигенция», обыгрывая фразу, сказанную по поводу латинского выражения «етс». На самом деле, слово вошло в обиход еще раньше – где-то с первой трети XIX века.

ления и отношения этого поколения к окружающему миру. Как и положено великому произведению, сиюминутное бытописание и стёб со временем отшелушились, и уступили место заложенным в книге философским обобщениям.

Можно сказать, что эти три книги стали символами трех временных срезов, трех поведенческих доминант в послевоенной советской культуре: а) «12 стульев» и «Золотой теленок» – библия шестидесятников, хрущевская «оттепель», оптимизм режима (живо перекликающийся с энтузиазмом 1920-х годов, когда они и были впервые опубликованы); б) «Мастер и Маргарита» – «золотая осень» советского строя; гламур и светлая безнадежная печаль; в) «Москва-Петушки» – распад, разложение страны, ощущение, что «так жить нельзя».

Донесенные авторами и (или) угаданные читателями ноты были услышаны миллионами душ, заставили их испытывать синхронные ощущения и делать похожие выводы. Разговаривая с поколением на его языке, манипулируя устоявшимися понятиями, как сегодня, так и вчера, можно подорвать привычный порядок жизни. Крылатая фраза «Мне скучно строить социализм» от частого повторения становится лозунгом, «Рукописи не горят» – заклинанием. Литература превращается в жизнь.

«Сама художественная логика разотчуждения несет в себе уже не просто манифест свободы от мира отчуждения, но – это более важно – саму логику освобождения от него» (13).

Эти книги порождены реалиями Советской власти и, в свою очередь, формировали особое сознание советской интеллигенции, давали ей духовную подпитку, важнейшую систему опознания «свой – чужой». Таких книг в принципе было мало, может десятка полтора, но только три-четыре прорвались на массовый уровень сознания и вошли в самую плоть общества. О том и поговорим.

III

Классик пропаганды Й. Геббельс отмечал, что часто повторяемая ложь становится рано или поздно истиной. А если это не ложь, а намеки, образы, видения? Они тоже приобретают силу правды, поэтической, но истины. Повторяемые в различных ситуациях – в компаниях, в кино (в СССР дилогия Ильфа и Петрова была экранизирована), обыгранные в произведениях подражателей идеи приобретали могучую силу. Еще раз:

«У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм», – говорит Бендер. Не это ли инстинктивная программа демонтажа системы, услышанная миллионами людей? И пусть разными путями пришли культовые книги в обиход советского интеллигента (дилогия была возвращена читателям в пятидесятые после кратковременного запрета), покойный Булгаков парадоксально «проснулся знаменитым» в середине шестидесятых, а «Москва – Петушки» постепенно просачивались к читателям все семидесятые годы), смысл их восприятия состоял в одном – в духовной оппозиции режиму.

Выдающийся публицист и диссидент А. Зиновьев как-то заметил: «Сталинская эпоха ушла в прошлое, осужденная, осмеянная, оплеванная и окарикатуренная, но не понятая. А между тем все то, что вырвалось наружу в хрущевское время, было накоплено, выстрадано и обдуманно в сталинское время. Все то, что стало буднями советской жизни в брежневское время, вызрело в сталинское время. Сталинская эпоха была юностью советского общества, периодом превращения его в зрелый социальный организм. И хотя бы уже потому она заслуживает нечего большего, чем осуждение: она заслуживает понимания» (14). Добавлю от себя, что только такое понимание поможет нам в полной мере почувствовать атмосферу, в которой творили авторы произведений, оказавших столь большое влияние на последующие поколения.

А влияние действительно было. Вот мнение только нескольких самих по себе культовых персонажей советской эпохи.

Знаменитый музыкант Алексей Козлов: «Чрезвычайной популярностью у советских людей всегда пользовался образ остроумного и положительного жулика – Остапа Бендера. В послевоенные времена книги Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев” и “Золотой теленок” официально были изъяты из школьной программы по истории советской литературы и не переиздавались до хрущевских времен. Но все читатели, от мала до велика, зачитывались их довоенными изданиями. Было очень популярным “хохмить” летучими фразами Остапа Бендера в самых разных жизненных ситуациях. Многие ходячие выражения такие, как “Может вам дать ключ от квартиры, где деньги лежат?”, стали жить своей жизнью, без всякой связи с источником» (15).

Кинорежиссер Эльдар Рязанов: «Популярное литературное, театральное или кинематографическое произведение, изобилующее меткими остротами, точными афоризмами, крылатыми словечками, всегда оказывает влияние на язык, входит, обогащает... Огромное количество оборотов, а главное – манеры, стиль выражения Ильфа и Петрова стали привычными в речи не одного поколения советских интеллигентов» (16).

Политобозреватель Генрих Боровик: «Под пером Ильфа и Петрова возникла удивительная по своей выразительности и яркости, огромная панорама житейно-бытия людей при советском режиме» (17).

В 1920-е годы соавторам было дозволено многое – в разгар внутривластной полемики высматривать пропагандистские клише; пародировать авторитетных советских литераторов и режиссеров (А. Белого, В. Маяковского, В. Мейерхольда и других), достижения левого искусства; издеваться над бесконечными докладами о «международном положении» и «империалистической угрозе», над шпиономанией и т. д. И читатель в пятидесятые годы с ужасом

убеждался, что бичуемые языком сатиры изъяны советской жизни не только не исчезли, но, наоборот, укрепились и пустили могучие корни.

Но, разумеется, не только политической сатирой славна дилогия, иначе бы ее фельетонная популярность среди читателей иссякла бы с окончанием эпохи партийных дискуссий. Во время работы шли в ход тонкие психологические наблюдения авторов, замечательные художественные описания природы и даже творческие зачатки друзей – так дивное объявление «Приехал жрец» Ильф и Петров подсмотрели в «Чукоккале» Корнея Чуковского.

Ильф и Петров были гениями юмора, о многих ли можно сказать такое? Сам мастер острого слова Леонид Утесов писал: «Я вообще считаю, долгий опыт научил, что по способности человека понимать юмор можно определить, насколько он... человек. Ведь чувство юмора присуще только человеку... И чем больше оно у него развито, тем он для меня человечнее» (18). Книги Ильфа и Петрова **человечны**.

Но сталинская власть оказалась не слишком человечной и не особенно смешливой. Уже при выходе второй части дилогии – «Золотого тельца» – авторы столкнулись с некоторыми проблемами. Так, в 1932 году А. Фадеев писал, что Остап Бендер – сукин сын, что НЭПа давно нет, что книга устарела и публиковать ее не стоит. В результате текст вышел отдельным изданием в США раньше, чем в СССР. «Роман, – предупреждали американские издатели, – слишком смешон, чтобы выйти на родине». Далее на американской обложке стояло: «Несмотря на предисловие советского наркома (А. Луначарского – К.К.), товарищ Сталин опасается, что “Золотой тельца” недостаточно серьезно относится к пятилетнему плану, в результате чего Америка первой знакомится с публикацией этого поразительно смешного романа» (19).

Ильф и Петров вынуждено оправдывались в «Литературной газете»: «Роман, от первой и до последней строки, напечатан в журнале и готовится к выходу отдельной книгой». И книга, действительно, вышла, но лишь благодаря вмешательству М. Горького. А Л. Фейхтвангер, к которому большевики весьма прислушивались, сказал о «Золотом тельце»: «Этот роман ценится европейским читателем не только как занимательное чтение, но и как одно из лучших произведений мировой сатирической литературы» (21). Ни больше, ни меньше.

Несмотря на то, что в еще 1938–1939 годах издательство «Советский писатель» выпустило четырехтомное собрание сочинений И. Ильфа и Е. Петрова (мало кто из тогдашних советских классиков удостоился такой чести), после войны в 1947 году дилогия об Остапе Бендере была запрещена, как и сборник очерков «Одноэтажная Америка». В официальной печати прошло несколько оскорбительных статей. В них фигурировали как бы три писателя: «Ильф и Петров, и в особенности Ильф» (Б. Горбатов); указывалось, что эти писатели принадлежали к той «южнорусской школе», которая культивировала «одесский жаргон» и тем нанесла «большой ущерб развитию художественного языка советской литературы» (А. Тарасенков); устанавливалось их неуважение к классической, в частности, гоголевской традиции (В. Ермилов) (21). И только во второй половине 1950-х годов дилогия, наконец, официально признана «классикой советской сатиры». А с другой стороны, как уже говорилось, в конце 1950-х годов романы Ильфа и Петрова стали своего рода «цитатником» инакомыслящих, которые видели в них почти откровенную издевку над пропагандистскими установками, газетными лозунгами, суждениями «основоположников марксизма-ленинизма».

Парадоксальным образом «классика советской литературы» воспринималась как литература антисоветская. И даже в самом названии «Клуба 12 стульев» (рубрики в популярной среди интеллигенции «Литературной газете», где публиковались сатирические произведения) властям и читателям чудилось что-то запрещенное! Сегодня, как флегматично замечает Э. Рязанов, «произведения Ильфа и Петрова, которые мы с детства знали наизусть, куда меньше увеселяют нынешнюю молодежь» (23). Но и в наше время «энциклопедию» жизни советского общества И. Ильфа и Е. Петрова можно поставить рядом с «энциклопедией» русского общества пушкинской поры – «Евгением Онегиным».

Содействовали росту популярности среди рядовых граждан СССР и экранизации отдельных частей дилогии знаменитыми режиссерами Л. Гайдаем и М. Швейцером. Так, «12 стульев» Гайдая посмотрели 60,7 миллионов зрителей, и она заняла третье место во всесоюзном кинопрокате⁵. Она же стала любимейшей комедией и самого Л. Гайдая.

В числе первых на премьеру экранизации почти антисоветской книги откликнулась главная газета страны – «Правда». Г. Кожухова в номере от 24 сентября 1971 года писала: «Оставшись самим собой, Гайдай в новой работе, на мой взгляд, во многом довел свою интонацию, свой стиль до блеска и изящества. Не эти ли же свойства объясняют то, почему мы десятилетиями поминаем добрым словом «Веселых ребят», «Волгу-Волгу», «Карнавальную ночь» – за радость присутствия на празднике мастерства?...» Но то будет позже, о Л. Гайдае и его экранизациях мы еще поговорим, а пока вернемся к рассказу о круге общения авторов дилогии. Тем более, что это имеет непосредственное отношение к предмету нашего повествования.

26 ноября 1934 года жена М. Булгакова Елена записывает в своем дневнике: «Вечером – Ильф и Петров. Пришли к М.А. (Михаилу Афанасьевичу – К.К.) советоваться насчет пьесы, которую они задумали» (24). Здесь следует сказать, что авторы литературных культовых произведений советской интеллигенции были добрыми знакомыми еще со времен работы в газете «Гудок» и составляли, по сути, приятельский кружок, о чем в дневнике супруги Булгакова есть немало пометок: «26.11.36.: Вечером у нас Ильф с женой, Петров с женой, Сережа Ермолинский с Мариной... Мне очень нравится Петров. Он очень остроумен, это первое. А кроме того, необыкновенно серьезно и горячо говорит, когда его заинтересует вопрос. К М.А. они оба (а главным образом, по-моему, Петров) относятся очень хорошо. И потом – они настоящие литераторы. А это редкость...» (25).

И дружили они до самой смерти – сначала Ильфа, потом – Булгакова: «1937, 14 апреля: «Тяжелое известие: умер Ильф. У него был сильный туберкулез»; 15 апреля: «Позвонили из Дома советского писателя – в караул к гробу... затем пошли в Камерный...» (26). И, к слову сказать, там же, в дневнике жены, писателя мы впервые встречаем название произведения, ставшего настольным для нескольких поколений советских интеллигентов: «1 марта 1938 г. У М.А. установилось название для романа – «Мастер и Маргарита». Надежды на напечатание его нет. И все же М.А. правит его, гонит вперед, в марте хочет кончить. Работает по ночам» (28). Возможно, тесное общение писателей и приводит к некой иллюзии схожести их литературных приемов. Э. Лимонов отмечает: «Мастер и Маргарита» и «12 стульев» **разительно родственны** (выделено мной – К.К.): разъездная бригада Воланда напоминает бригаду Остапа Бендера» (28). Плюс сатирическая составляющая обоих произведений. Однако Булгаков тоже писал не голую сатиру, но психологически достоверную книгу о своем трудном и страшном времени и его людях. Она историческая еще и потому, что насыщена точнейшими деталями быта и неповторимыми характерами людей.

После первой публикации романа в журнале «Москва» (1966–1967 гг.) И. Эренбург заметил: «Недавно опубликовали фантастический роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», написанный тридцать пять лет назад. Ершалаим – живой город, и главы, посвященные Понтию Пилату, я читал как замечательное повествование о нашем современнике, а главы, сатирически изображающие московский быт двадцатых годов, на мой взгляд, устарели» (29). Но в tomto и сила романа, секрет его притягательности для читателя 1960-х годов, что быт Москвы оставался абсолютно узнаваем, с его коммуналками, хамством, человеческой подлостью, и это узнавание вызывало оторопь. Эмигрантский литературный критик В. Завалишин писал о Булгакове: «Я не знаю другого сатирика, который создал бы столь смелые, правдивые и вырази-

⁵ Хотя существуют и разночтения: по другим сведениям, «12 стульев» заняли в тот год только 6 место и собрали 30 с лишним миллионов зрителей. Тоже не мало.

тельные карикатуры на советского человека и на ту атмосферу тридцатых годов, которая сплющивала и уродовала и жизнь, и духовный и нравственный облик человека» (30).

Сам Булгаков четко понимал, что он изображает и какие наиболее эффектные, разительные приемы использует. 6–7 августа 1938 года в письме к Е. Булгаковой он пишет: «Я тут случайно попал на статью о фантастике Гофмана (ст. И. В. Миримского «Социальная фантастика Гофмана» // «Литературная учеба», № 5, 1938 г. – К.К.). Я берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в «Мастере и Маргарите»! Ты понимаешь, чего стоит это сознание – я прав!» В статье Булгаковым отмечены, в частности, следующие места: «Стиль Гофмана можно определить как реально-фантастический. Сочетание реального с фантастическим, вымышленного с действительным...»; «...Если гений заключает мир с действительностью, то это приводит его в болото филистерства, «честного» чиновничьего образа мыслей; если же он не сдается действительности до конца, то кончает преждевременной смертью или безумием»; «Смех Гофмана отличается необыкновенной подвижностью своих форм, он колеблется от добродушного юмора сострадания до озлобленной разрушительной сатиры, от безобидного шаржа до цинически уродливого гротеска» (31). Вот что отличает реализм Ильфа-Петрова от гофманианы Булгакова. В. Каверин: «Нет, не был с помощью социалистического реализма создан новый Фауст. Напротив, вопреки этому «флогистону»⁶ мы получили поразивший весь мир своей выстраданной силой роман Булгакова «Мастер и Маргарита» (32).

Елена Сергеевна поклялась Булгакову, что роман будет опубликован при ее жизни. И действительно, в середине шестидесятых, хоть и с купюрами, но он все же был напечатан в журнале «Москва». Умирая, Булгаков завещал гонорар за публикацию первому человеку, который после выхода «Мастера и Маргариты» положит цветы на его могилу. И воля писателя его вдовой была выполнена.

Не сразу на свободу вырвалась, как выразился Каверин, «ошеломляющая новизна “Мастера и Маргариты”» (33). Хотя несколько раз «Мастер и Маргарита» готовился к публикации – и сразу после войны, и после смерти Сталина. Но безрезультатно. «19 октября [1956 г.] Днем позвонил и приехал Твардовский, привез «Мастера», сказал, что он потрясен, узнав, поняв, наконец, масштаб Булгакова: «Его современники не могут идти ни в какой счет с ним». Еще говорил много о своем впечатлении от романа, но кончил так: «Но я должен откровенно сказать Вам, Е.С., что сейчас нельзя поднимать вопроса о его напечатании. Я надеюсь, что мы вернемся к этому, когда будет реальная возможность» (34). Хрущевская оттепель «Мастера и Маргариты» не коснулась, и хорошо – возможно, он был бы унесен тогдашним литературным половодьем. Роман пришел к широкому читателю уже после «оттепели», и потому его печальное настроение как нельзя лучше ложилось в общее настроение угасших иллюзий интеллигенции, что определило его феноменальный успех. Смена социальных приоритетов оказалась связана со всплеском интереса ко всему потустороннему – от христианства до сенсационных опытов В. Мессинга, что также содействовало массовому успеху книги. Даже зловещая фигура «иностранный артиста» – «мессира» Воланда – невольно ассоциировалась с именем «Мессинг» – иностранец и артист с необычной внешностью. Теперь уже бесспорно, что роман М. Булгакова стал народным чтением. И среди миллионов его читателей числятся личности самого крупного масштаба, которые сами стали явлением культуры. Скажем, вдова популярнейшего композитора М. Таривердиева Вера особо вспоминала в интервью о «...его любимой книге “Мастер и Маргарита”, зачитанной до дыр» (35). Множить примеры даже и не вижу смысла.

Ну и, разумеется, популяризация творческого наследия Булгакова с помощью самого пространного вида искусства в СССР – кино. Творчество Булгакова во всей его широте, а я

⁶ Флогистон – «огненная субстанция», якобы наполняющая все горючие вещества и высвобождающаяся из них при горении.

сказал бы и идейном неприятии советской власти, можно было прочувствовать в экранизациях «Дней Турбинных» и «Бега». Кстати, за постановку «Бега» брался все тот же неугомонный Л. Гайдай, но из рамок комедии его не выпустило Госкино. Однако в начале 1970-х годов Леонид Иович вновь вернулся к Булгакову, на сей раз выбрав комедийную пьесу «Иван Васильевич». В результате – оглушительный успех фильма «Иван Васильевич меняет профессию» – одной из самых лучших советских комедий. Её посмотрело свыше 60 миллионов зрителей, которые косвенно, но все же приобщились к творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова... Писатель Евгений Попов: «...Певец водки Венедикт – так дружно сочли недавние читатели “Мастера и Маргариты”, когда к ним в начале 1970-х со страшной силой стали прибывать самиздатовские листки с общим заголовком “Москва – Петушки”. Читатель всегда прав, читатель всегда ошибается» (36). Это сейчас мы, как и популярный писатель Е. Попов, ставим в один ряд эти разные, хотя и знаковые произведения. Но жил на свете человек, который терпеть не мог бессмертный роман Булгакова и страшно раздражался в разговоре с журналистами, если «Москва – Петушки» сравнивали с «Мастером и Маргаритой». Это сам Венедикт Ерофеев:

– Как вы относитесь к Булгакову? – спрашивает корреспондент Венедикта Васильевича.

– Прохладно. Мне не нравится. Я до сих пор не прочел «Мастера и Маргариту». Дохожу до 38 страницы и не могу, мне невыносимо скучно (37).

«(Ерофеев) Булгакова на дух не принимал. “Мастера и Маргариту” ненавидел так, что его даже трясло. Говорил: “Да, я не читал “Мастера”, я дальше 15 страницы не мог почесть!» (38).

И не прочел до конца своей жизни, “Театральный роман” ему больше нравился» (39).

Разумеется, Булгаков ничего не знал о появлении на свет нового критика его творчества – едва родился таковой, прославленный писатель почил в бозе. А вот станции Петушки Михаил Афанасьевич чужд не был, у него есть даже фельетон «Спектакль в Петушках»: «Вой стоял над Петушками! Стон и скрежет зубовный!!!» Да и некоторые персонажи «Москва – Петушки» были добрыми знакомыми Михаила Афанасьевича, например, знаменитая арфистка Вера Дулова, о чем упоминает его жена:

«29 января. (1938) Сегодня звонила днем Вера Дулова, приглашала нас первого на обед. Просила, чтобы М.А. привез и прочитал «Ивана Васильевича». Он отказался. Говорила, что на обеде будут Шостакович и Яковлевы» (40). А вот к авторам дилогии об Остапе Бендере В. Ерофеев относился с интересом и на досуге, тщательно штудировав записные книжки Ильфа, упорно постигал методологию его творчества.

Так или иначе, на свет появилась прозаическая поэма «Москва – Петушки». И она сразу прославила автора. Литературовед и друг Ерофеева В. Муравьев отмечает: «Машинопись пошла гулять в диссидентских кругах и имела бешенный “самиздатский” успех» (41). Книгу заметили и маститые писатели, например, Давид Самойлов: (Из подённых записей, 1972, 27.06): «Читаю “Москва – Петушки” В. Ерофеева. И позже (1982 г.): «Перечитывал “Москва – Петушки” Ерофеева. Превосходное произведение. В нем есть чувство идеального...» (42). Вскоре книга вышла на Западе, но все же главным ее популяризатором оставался самиздат.

Здесь нужно немного для непосвященного молодого читателя пояснить, что такое «самиздат» – явление, которое особенно стало заметным с середины 1960-х годов. Тотальный контроль над литературным творчеством в СССР был продиктован осознанием государством важности печатного слова. Писатели, которые по разным причинам не могли прийти к компромиссу с властью (либо в принципе этот компромисс не искали), занялись самостоятельным распространением своих литературных произведений. Их тиражировали под копирку на пишущих машинках, реже на копировальных машинах, с произведениями знакомились по принципу «прочти и передай товарищу».

К процессу подключились тысячи энтузиастов, бесплатно распространявших подпольную литературу. И не только литературу – в самиздате ходили и политические воззвания, исторические труды, поэтические сборники... Процесс принял такой размах, что появился

популярный анекдот: бабушка сидит и перепечатывает на машинке «Войну и мир»; на недоуменный вопрос «зачем она это делает?», отвечает: «Хочу, чтобы внучка познакомилась с творчеством Льва Толстого, ведь молодежь читает только то, что ходит в самиздате». Кстати, сам процесс перепечатки самиздата способствует запоминанию текста, а его запрещенность заставляет читателя обращать особое внимание на написанное автором.

Небольшая по объему, что весьма важно для самиздата с его трудоемкостью производства, остроумная, густо замешанная на ненормативной лексике книжка с самого начала имела большие шансы на успех. Но, прежде всего, своей популярностью она обязана яркому таланту автора, представившего целую галерею типов современного ему общества, превратив обычную электричку в символ несущегося в никуда общества. Рецензент «Аргументов и фактов» Д. Вересов:

«Мы, начитанная ленинградская молодежь, наряду с обязательной (и максимально приближенной к первоисточнику) поездкой по бессмертному маршруту “Москва – Петушки”, уже в конце 1970-х включали в программу рейд по точкам общепита а-ля Кармадон и компания»⁷ (43). Уже в наше время анонимный рецензент в Интернете – будем считать, что это голос народа – ёмко сформулировал суть произведения Ерофеева: «“Москва – Петушки” – это книга вне времени, вне режима и вне власти. Эта книга о человеке русской национальности, таком, каким он является в самой своей глубине, под наносной модой, социальным положением и пр. И одно то, что Ерофеев смог признать эту “характерность” и показать ее в своей книге (да как! стиль великолепен до такой степени, что и сегодня, спустя почти сорок лет после написания, роман разбирается на цитаты), уже ставит автора на голову выше всех его современников» (44).

Но не только анонимы, но и звезды нынешнего литературного небосклона отдают должное Венедикту Ерофееву. Т. Толстая пишет в «Книжном обозрении», что поэма «Москва – Петушки» является «гениальным русским романом второй половины 20-го века... В. Ерофеев сказал о России точнее, глубже, с большей любовью, поэзией, жалостью, чем кто бы то ни было из пишущих в наши дни. Бессмертное произведение!» (45). А культовые поэты современности – Пригов, Иртеньев и компания подарили Венедикту Ерофееву в знак признания его заслуг свой стихотворный сборник с многозначительной надписью: «Мы все вышли из «Петушков». Преемственность, однако.

⁷ Ассоциация с популярной книгой В. Орлова «Альтист Данилов».

IV

Итак, три литературных героя (Бендер, Мастер и Веничка), три кластера отечественной истории: 1920-е – 1930-е, 1950-е – 1960-е годы, и, наконец, эпоха 1970 – 1980-х. То, что советские граждане шутливо классифицировали на манер искусствоведческого деления как «ранний репрессанс», «поздний реабилитанс», «современный одобрямс». Смешно, но в целом верно.

Вся самокритичность советской культуры порождена противоречием между задуманным светлым идеалом и окружающими реалиями советского социализма. По сути, в приведенном выше квазиинтеллектуальном делении истории СССР отражены основные этапы развития советского общества и его культуры. Сначала бурное революционное прошлое со всеми его социальными экспериментами и человеческими жертвами, яростными спорами и свержением всех авторитетов (1920-1930-е годы) вступило в конфликт с упорядоченным сталинским государством, и этот конфликт интересов закончился трагедией для сотен тысяч интеллигентов.

Последующая эпоха характеризуется тем, что из инструмента революционного преобразования культура постепенно превратилась в застывший канон. Ориентируясь на этот эталон, идеология стремилась внести совершенные формы жизни не только в личную, но и в общественную жизнь. Такое отношение было характерно для советского общества вплоть до 1960-х – начала 1970-х годов.

«Поколение А. Ахматовой и Б. Пастернака, А. Толстого и В. Гроссмана формировалось не в эпоху целенаправленной лояльности. А потому и не имело наследников», – считает политолог А. Уткин (46). А без наследников со второй половины 1970-х культура начала утрачивать силу своего влияния как высокий ориентир в реальной жизни людей – социализм и порожденная им культура оказались в тупике.

Дальнейший бунт литературных одиночек только подтверждал правило – восстание инакомыслящих возможно, творческое и философское осмысление мировых процессов – нет. Его отсутствие заставляет отечественную интеллигенцию вновь склониться перед опытом Запада, отречься от собственной традиции и заняться экстренной модернизацией общества, т. н. «перестройкой».

Важно отметить, что после XX съезда КПСС в стране вызревает когорта тех, кто позже был назван «шестидесятниками» – слой прозападно мыслящей интеллигенции, своеобразное восстановление (на новой основе) лагеря традиционных русских западников. Трудно переоценить значимость этого явления. Именно «шестидесятники» в 1980-1990-е годы составят пул советников и экспертов, которые развернут корабль советской государственности в сторону сближения с Западом. Именно при их идеологическом воздействии началась эпоха новых мифов, которые интеллигенция настойчиво внедряет в народное сознание: стереотипы о Сталине, о XX съезде, «шестидесятниках», «перестройке» и т. д.

Повышенная внушаемость современной интеллигенции связана не только с неустойчивостью ее социального статуса, метанием между интеллигентностью в классическом понимании этого слова и интеллектуализмом в буржуазном значении термина, но и с «катастрофичностью» мышления. На протяжении столетия бесконечные революции, войны, репрессии и перестройки выработали у нас привычку к гиперболизации явлений действительности, размежеванию и радикализации мнений. Социолог С. Кара-Мурза: «Говорят: СССР рухнул под грузом противоречий. Противоречия, мол, – всему причина, а перестройка лишь *освободила* их из-под гнета режима, и это хорошо! По этой логике, дом сгорает потому, что деревянный, а не потому, что какой-то негодяй плеснул керосина и подпалил. Поджигатель, мол, лишь освободил свойство дерева гореть» (47).

Кризис культуры, а именно его мы наблюдаем сегодня на пространстве бывшего СССР, всегда связан с кризисом философских, метафизических оснований. Речь идет об устойчивых стереотипах поведения, воспитанных самой культурой образованной части общества. Тридцать лет перестройки, независимости и реформ в нашей экспериментальной стране обнаружили небывалый отрыв интеллигенции от народа во взглядах и установках по множеству важных вопросов.

Истинная история часто не такая, какой ее описывают писатели или историки. Например, вандалы были утонченным народом, ценившим музыку и литературу, но, благодаря латинским авторам, остались в истории безжалостными разрушителями Рима, а само их имя стало нарицательным. Попробуем сравнить эмоциональную, живую часть истории с объективными цифрами и фактами, и осмыслим, насколько велика власть эмоций в нашем современном восприятии прошлого. Попробуем разобраться, где интеллигенция, сознательно или неосознанно, говорит неправду, в первую очередь, **себе и о себе**.

Глава 1

Пьянящий воздух свободы

I

По городам когда-то необъятной родины бродят толпы интеллигентных с виду людей, украшенных оранжевыми или белыми ленточками, протестующих против всего – от загрязнения природы до узурпации власти; защищающих вся – от животных до свободы слова. Когда они произносят пышные слова о создании гражданского общества, я невольно вспоминаю В. Ерофеева: «Русская интеллигенция есть группа, движение, традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей» (1). Перед нами, если вдуматься, совершенно нелепая претензия индивидов, которые убеждены, что если бы бытие великой страны осуществлялось с их субъективными «идеями», наша жизнь стала принципиально более «позитивной», нежели в действительности. То есть, если бы люди пошли за носителями неких идеалов, то всё бы быстро нормализовалось и зажили бы мы припеваючи.

«Всё сложно, а просто в голове у дурака», – говорил Лев Гумилев. Нелепо предполагать, что получив вожаемую «свободу слова», мы построим справедливое общество. И «демократия» не является панацеей. Но человек, уже поверивший в некий миф, начинает видеть реальность под определенным углом зрения. Такой взгляд обуславливает выборочное восприятие фактов и явлений действительности. Иными словами, он видит только то, что хочет или готов увидеть. Если индивидуум готов поверить в существование полной «свободы слова» и в то, что она основополагающе влияет на социальную «справедливость», значит – он ставит во главу угла свои собственные ценности, возможно, он журналист, писатель или представитель искусства. Ради свободы галдежа в телевизоре он готов даже терпеть некоторые неудобства. Между тем, крестьянину «свобода слова» до лампочки, для него «справедливость» – возможность трудиться и получать хорошую оплату за урожай. В том же смысле можно высказаться о рабочем и о других людях физического труда. И они тоже по-своему будут правы. Человеческие мнения, формирующиеся на основе очень ограниченной информированности, изменяются только после жестких аргументов очевидности, требующих совершить аналитическую переоценку. Это касается и интеллигенции, и народа.

К интеллигенции нередко причисляют всех людей умственного труда, но в действительности к ней принадлежат только те, кто, так или иначе, проявляют свою политическую и идеологическую активность.

В целом, интеллигенция – необходимая посредница между именно тем народом и именно тем государством, которые, по необходимости, существуют в России, Украине, Белоруссии – во многом похожих стран постсоветского пространства, выросших в единой культурной парадигме на основе общих социальных мифов. Нынешние мифологемы интеллигенции базируются (пока еще базируются) на наработках т. н. «шестидесятников», общественно-политического движения, порожденного эпохой «оттепели», сначала исповедовавших идеи «очищения» социализма от перегибов советского диктатора Сталина, либерализации внутренней жизни в СССР, пропагандировавших большую открытость общества по отношению к Западу. Часто «шестидесятники» также воспринимаются и вне политического контекста, просто как представители одного поколения, вошедшего во взрослую жизнь после смерти Сталина. Мы говорим о первых.

Беседуют культовые персонажи эпохи перестройки – журналистка и правозащитница Алла Гербер берет интервью у барда Юлия Кима:

– Но скажи, разве сегодня мы не такие же? Разве, прости за высокопарный стиль, наши души не в рубцах, наша совесть не износилась с тех пор от варварского с ней обращения? А в **застрельщиках перестройки все те же неистребимые шестидесятники...** (Выделено мной – К.К.)

– Хороший был заряд, его хватило на двадцать лет! Поем до сих пор, никак не можем остановиться... (2)

Алла Гербер считает, что с ее совестью обходились «варварски», покрывали «рубцами»... Так ли это на самом деле? Понятно, что факты, специфически отобранные сознанием человека и воспринятые им в русле мифа, лишь подтверждают его верования, идеологические установки и точку зрения на мир. Нас же сейчас интересует иное: что это за особый заряд такой, что его хватило на два десятилетия?

Однажды у известного русского писателя Ю. Нагибина спросили, почему «шестидесятники» так упрямо требовали возвращения к «ленинским нормам» жизни? «Мы верили, что там была правда», – последовал ответ (3). Юрий Нагибин, которого я дальше буду часто цитировать, писатель не рядовой – и талантливый, и очень популярный среди современной ему интеллигенции, оставивший после себя поразительные по откровенности дневники. Говоря о преемственности культуры «шестидесятников», поэт Андрей Вознесенский в интервью Дмитрию Быкову говорил: «...Вообще люди 1920-х годов относились ко мне лучше, чем многие современники, в них жила благодарная память об авангарде, о Маяковском, и я многим обязан их доброму отношению. Тот же Катаев, основатель “Юности”, открывавший шестидесятников... Чуковский, которого я еще застал в Переделкине...» (4) Вспоминая другого знакового поэта – Евгения Евтушенко – его умный и язвительный коллега Давид Самойлов отмечал: «Главная черта сходства Хрущева и Евтушенко состоит в том, что оба они романтики. Они оба формулируют ретроспективный идеал (Хрущев – “возврат”, Евтушенко – романтику Гражданской войны и первых лет революции)» (5). Как видим, связь с 1920-ми годами декларировалась, ею гордились, почитали за базис культуры нового поколения.

Это мнение о неразрывной духовной связи 1960-х и 1920-х годов подтверждают наблюдения вдовы поэта Осипа Мандельштама; в шестидесятые годы Надежда Мандельштам отмечала в своих мемуарах: «Сейчас многие хотели бы соединить двадцатые годы с сегодняшним днем и восстановить добровольное единство, которое создавалось в те дни. Люди, уцелевшие от двадцатых годов, ходят сейчас среди новых поколений и всеми силами стараются им внушить, что тогда был пережит неслыханный расцвет – наука, литература, театр! – и если бы все шло намеченным тогда путем, мы бы уже взобрались на самые вершины жизни... Все, чье тридцатилетие выпало на двадцатые годы, еще и сейчас призывают вернуться в ту эпоху и снова, уже “не допуская никаких искажений”, пойти открывавшейся им оттуда дорогой» (6).

Иначе говоря, участники революции и культурная элита первых лет Советской власти не признали себя ответственными за то, что произошло после, при Сталине, и звали назад в благословенные 1920-е. Однако мемуаристка беспощадно разоблачает революционных романтиков: «...именно люди двадцатых годов разрушили ценности и нашли формулы, без которых не обойтись и сейчас: “молодое государство”, “невиданный опыт”, “лес рубят – щепки летят”... Каждая казнь оправдывалась тем, что строят мир, где больше не будет насилия, и все жертвы хороши ради неслыханного “нового”. Никто не заметил, как цель стала оправдывать средства, а потом, как и полагается в таких случаях, постепенно растаяла». И далее самое важное: «На самом деле двадцатые годы – это период, когда были сделаны все заготовки для нашего будущего: казуистическая диалектика, развенчивание ценностей, воля к единомыслию и подчинению. Самые сильные из развенчивателей сложили головы, но до этого они успели взрыхлить почву для будущего. В двадцатые годы наши карающие органы еще набирались сил, но они уже действовали. Тридцатилетние настойчиво проповедовали свою веру. Уговаривая, а потом,

страшая, они повели за собой целые толпы в следующую эпоху, где отдельных голосов уже не было слышно» (7).

Они называли себя «Детьми XX съезда», подразумевая, что разоблачения Сталина взрастили их вольнолюбивый дух. Однако шестидесятники и по настроению, и по возрасту дети двадцатых годов, а не XX съезда. И это не случайно: двадцатые годы – время рождения именно советской, «красной» интеллигенции⁸.

Молодое государство настойчиво создавало свою, преданную именно ему, когорту специалистов, заменяя, порою насильственно, специалистов старой формации. И здесь начинаются разночтения, кто и каким образом является наследником великой русской культуры, а значит – имеет моральное право судить о пути страны в её исторической перспективе. В. Ерофеев: «Советская интеллигенция истребила русскую интеллигенцию, и еще претендует на какое-то наследство...» (9).

Существует ли преемственность от русской к советской интеллигенции – вопрос не просто нравственный, но имеющий конкретное политическое содержание; был ли пройденный путь ошибкой, а если ошибкой, то кто должен нести за нее ответственность? Это не частный интерес прослойки интеллектуалов. Интеллигенция всегда мыслила себя глаголящей частью народа. Наше интеллигентное сообщество, как правило, выдвигало не столько собственные интересы своих сочленов, сколько интересы Народа (пусть по-разному понимаемые различными интеллигентскими течениями). Отвергать ли для пользы народа существующие наработки, как недейственные, либо выдвинуть принципиально новую модель развития?

⁸ Поэт А. Вознесенский с умилением вспоминает своего отца, который во время Гражданской войны комсомольствовал в маленьком городке Киржач: «Отец с юмором рассказывал, как они, школьники, на глазах у моргавшего учителя клали наган на парту» (8). Юмор, замечу, так себе. Но ведь сын тоже находил это забавным, а не преступным.

II

А. Вознесенский жаловался от имени русской интеллигенции всех времен и народов: «Что это в последнее время обвиняют интеллигенцию – она, мол, социализм придумала, а теперь и вовсе страну разрушила? Это не мы, это полуграмотные террористы, а никакая не интеллигенция». Ага! Герцен, Чернышевский, Плеханов да Бухарин, значит – «полуграмотные террористы». Однако так ли уж злонамеренны были эти высокообразованные люди? Неужели они хотели народу только зла, а нынешние интеллектуалы – исключительно добра?

«По отношению к советскому строю и ко всему советскому проекту наш нынешний культурный слой совершил, на мой взгляд, огромную историческую нечуткость и несправедливость, – пишет известный социолог С. Кара-Мурза в своей фундаментальной работе «Советская цивилизация». – Из этой несправедливости вытекает огромная ошибка, которая может нас погубить. Ныне живущая интеллигенция не проявила интереса и воли, чтобы понять суть советского строя через слово культуры, она увлеклась вторичными, а часто всего лишь политическими вопросами» (10).

Трудно с ним не согласиться: интеллигенция, самим своим статусом призванная изучать и определять культурный код общества, сегодня больше интересуется политическими шоу, нежели познанием глубинных процессов. Поверхностное осмысление приводит к простоте, такой знакомой простоте решений: отсюда примитивность политических лозунгов и целей. Легкодоступность и легкоусвояемость пропагандистского продукта приводит к своего рода привыканию. Необходимая доля перца, уксуса, усилителей вкуса в потребляемой информации присутствует (за рецептом следят опытные повара – политики, журналисты и редакторы), свои мозги как бы имеются – «чего же боле»? Мало кто задумывается, что современные методы управления позволяют рассчитать и вызвать практически любую необходимую реакцию даже хорошо образованного человека, причем в необходимой последовательности и интенсивности. И рычаги управления находятся в руках отнюдь не бескорыстных граждан, а людей, заинтересованных в продолжении процесса эксплуатации человеческих ресурсов, недр, глобального управления экономикой. Можно сколько угодно переживать у телевизора – мир оттого не изменится. Как не изменится порядок вещей в мировой экономике от уличных акций протеста, которые, к слову сказать, часто провоцируются именно сильными мира сего для свержения, скажем, неугодного правительства.

Явление не новое. Борьба с несправедливостью всегда почиталась важной функцией передовой части общества. Во времена становления марксизма образованные люди с ужасом наблюдали за беспощадными реалиями капитализма (а в некоторых странах, вроде Российской империи, помноженными вдобавок на остатки феодализма). Для многих выходом представлялась социальная доктрина, подразумевавшая передачу средств производства из частных рук в руки общества – государства, крестьянской общины, рабочего самоуправления – не важно. Важен сам принцип не стихийного, а спланированного управления процессом создания национальных богатств и их такого же разумного распределения.

В конце XIX – начале XX веков мода на социалистические идеи быстро охватила всю Европу. «Неудачники, непонятые, адвокаты без практики, писатели без читателей, аптекари и доктора без пациентов, плохо оплачиваемые преподаватели, обладатели разных дипломов, не нашедшие занятий, служащие, признанные хозяевами негодными, и т. д. – суть естественные последователи социализма», – классик социологии и очевидец описываемых событий француз Лебон ехидно описывает современных ему социалистов. – «В действительности они мало интересуются собственно доктринами. Все, о чем они мечтают, это создать путем насилия общество, в котором они были бы хозяевами. Их крики о равенстве и равноправии нисколько не

мешают им с презрением относиться к черни, не получившей, как они, книжного образования» (11).

Остроумие классика, описывающего реалии Французской Республики, не совсем оправдано. Чудовищная эксплуатация людей, расслоение общества, захватническая политика великих держав вызвали протест не только у неудачников, но и у любого здравомыслящего человека, думающего о будущем общества. Нельзя расслаблено отдыхать на готовой взорваться бомбе. Другое дело, что любая набирающая популярность идея часто превращается в моду, увлекает и неуравновешенных фанатиков, и откровенных глупцов, и маргиналов, рассчитывающих в случае удачи чем-нибудь поживиться.

Конечно, и в России были увлеченные социалистическими идеями люди, причем, в немалом количестве. Показательно, что само слово «шестидесятники» оттуда, из XIX века, так называли разночинцев-демократов. Так что преемственность имеется уже на уровне терминологии. Вот как описывал массовое появление тогдашних «шестидесятников» на сцене истории советский этнограф и историк Л. Гумилев: «В XVIII веке Екатерина II освободила дворян от обязательной воинской службы, но в 1812 они еще дрались, и очень здорово дрались, потому что сохранилось поколение воинов-пассионариев. А дальше началось: “что делать?”, “куда идти?”, – и тут оставшимся без дела пассионариям подсунили масонские лозунги типа “Свобода, равенство, братство”. На них клюнули все эти клоповоняющие базаровы, волоховы. В общем, образовался у нас в XIX веке западнический субэтнос, который все время расшатывал устои государства»⁹ (12).

Л. Гумилев видел в этом целую систему координат, в которой догнивал дореволюционный уклад русской интеллигенции, и в своих оценках он не одинок. Писатель А. Толстой определял это умонастроение как «интеллигентщина, расхлябанность, чеховщина, которые характерны для 80-х годов прошлого (XIX – К.К.) столетия» (14). И вот у этой публики появилась великая цель – освобождение народа. Не находящая себе место в монархическом и клерикальном государстве свободомыслящая интеллигенция возбудилась – в ее существовании появился Высший Смысл. Н. Бердяев: «Невозможность политической деятельности привела к тому, что политика была перенесена в мысль и литературу. Литературные критики были властителями дум социальных и политических. Интеллигенция приняла раскольничий характер... она жила в расколе с окружающей действительностью, которую считала злой, и в ней выработалась фанатическая раскольничья мораль» (15). Смысл жертвенности, страдания, самоотвержения, и – непременно – трагической развязки.

Счастливая концовка не в традициях нашей великой литературы и замечательного кино. Блистательно и парадоксально описана эта связь у В. Ерофеева, который, к слову сказать, учение Л. Гумилева в свое время внимательно штудировал. Тем, кто не читал «Москва – Петушки», подскажу, что диалог происходит в разгар пьянки, когда наши люди по обыкновению переходят к обсуждению высоких материй (больше подсказывать не буду):

– Я очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! – продолжал человек в жакетке. – Я, например, пью месяц, пью другой, а потом возьму и прочитаю какую-нибудь книжку, и так хороша покажется мне эта книжка, и так дурен я кажусь сам себе, что я совсем расстраиваюсь и не могу читать, бросаю книжку и начинаю пить, пью месяц, пью другой, а потом...

– погоди, – тут уж я его прервал, – погоди. Так что же социал-демократы?

⁹ Жена Льва Николаевича вспоминала: «Как-то я смотрю на собрание сочинений Чехова и говорю Льву: скучно мне читать Чехова. Язык замечательный, образы великолепные, но эти ноющие женщины невыносимы. “А это уже началась эпоха скуки, – сказал он. – Самое страшное, когда люди начинают скучать. Значит, они инертны, у них нет энергии. Настоящий творческий человек – художник, писатель, ученый – никогда не скучает. А к концу XIX века у нас появилось огромное количество обывателей, и так как Чехов жил среди них, то он описывал”» (13).

– А вот и притом! С этого и началось все главное – сивуха началась вместо клико! Разночинство началось, дебош и хованицина!.. Все эти Успенские, все эти Помяловские – они без стакана не могли написать ни строки! Я читал, я знаю! Отчаянно пили! Все честные люди России! И отчего они пили? – с отчаяния пили!.. Социал-демократ – пишет и пьет, и пьет, как пишет. А мужик – не читает и пьет, пьет, не читая... А теперь – вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет не просыпаясь! Бей во все колокола, по всему Лондону – никто в России головы не поднимет, все в блевотине и всем тяжело!.. И так – до наших времен!

Я начинаю активно цитировать выбранных нами авторов Ильфа, Петрова, Булгакова, Ерофеева. Смысл цитат в том, чтобы проиллюстрировать ключевые аспекты сознания среднего советского интеллигента на базе его культовых книг, которые часто весьма адекватно отражали действительность – в этом-то и секрет их многолетней популярности. Ну а для серьезности и наукообразности, чтобы вы не заподозрили меня в легковесности, еще одна развернутая цитата, на этот раз не из подгулявшего Венечки, а из вполне серьезной работы «Интеллигенция и свобода» классика советской культурологии М. Лотмана: «В самой природе русской интеллигенции изначально заложена некая двойственность: с одной стороны, она является результатом попытки создания образованной прослойки общества по европейскому образцу... С другой стороны... помещение ее в принципиально иной культурный контекст приводит к ее перекодировке в терминах, специфических именно для русской культуры, трансформации, в результате которой многие из исходных компонентов были утеряны, а некоторые добавлены, и, что еще важнее, большинство акцентов было смещено, например, “передвинуто” из интеллектуальной сферы в **сферу нравственную**» (16).

Итак, мы имеем некоторую раздвоенность: интеллигенция, по сути, подражательна Западу (а значит, и новомодным западным идеям), но в результате попадания на отечественную почву западные идеи начинают отсвечивать новыми красками. Наш социализм – это не западная интеллектуальная конструкция, но моральный императив.

Кто-то считает такой ход вещей достижением, вознесшим Советский Союз на вершины мирового господства, кто-то усматривает в отходе от западной концепции трагедию, обернувшуюся миллионами жертв. Но мало кто говорит о том, что взрастившая социалистическую революцию во благо народа интеллигенция, собственно к народу никакого отношения почти не имела. И, в первую очередь, не имела отношения к основной массе населения – крестьянству. Насколько далеки от настоящего возделывания земли были хождения за плугом Л. Толстого, так и маниловские проекты социального государства, которым бредили передовые граждане, оказались далеки от реальной жизни и истинных чаяний народа, ради которого они все сочинялись. Но те, кто не принимал новомодных словес о «всеобщем счастье» в случае выполнения тех или иных условий, те, кто предполагал большую сложность социальных процессов, автоматически попадал в число ретроградов, консерваторов, шовинистов, короче – врагов «прогрессивного».

Удивительную моду мы наблюдаем в начале XX века среди образованных слоев Российской империи: интеллигенты, отрицающие интеллигентов, интеллект, презирующий интеллект и полученное буржуазное образование. Радикалы порывали с прошлым, считая себя людьми новой формации, лучше других знающими, что необходимо окружающим. Но, как и во всякой секте, мнение вне своего круга ими не учитывалось. Оплакивая утраченную в результате кровавой революции страну, П. Струве справедливо указывает: «Россию погубила безнациональность интеллигенции, единственный в мировой истории случай – забвение национальной идеи мозгом нации» (17). Согласно мнению «передовых» слоев общества, масса косна и консервативна, просветить ее и привести к прогрессивным идеям – есть долг мыслящего патриота. То, что у массы есть свой накопленный многими поколениями опыт, предпочтения и коллективный разум, реформаторам как-то в голову не приходило. И не приходит.

III

Революции 1917 года первоначально являлась эманацией либеральной гуманитарной интеллигенции. Красивые слова, лозунги... Однако уже в самое ближайшее время стало очевидно, что поэтическая составляющая любой революции не отменяет вопросы функционирования экономики, государственной бюрократии, воинской дисциплины. Того, что всегда противно настоящему революционному романтизму. Писатель М. Пришвин в своих дневниках заметил: «Разум русского политического сектанта (интеллигента)... это особое болезненное состояние, в котором... личность разрушается или в пассивном анализе (меньшевики), или в скором действии по схеме, созданной этим «разумом» (большевики)» (18). Что лучше: активное действие или анализ, революция или эволюция? Различное политическое толкование актуальных вопросов различными частями общества и силовое решение вопроса путем Гражданской войны и последующих репрессий надолго загнали проблему внутрь, позже трансформировав ее в проблему взаимоотношений государственной бюрократии и творческой интеллигенции. Но государство – это паровая машина для реалистов, а не парусник для романтиков.

Государство нуждалось в практиках, в управленцах. По мере воссоздания государственной машины (применительно к периоду 1920-х гг.), вопрос отношений власти и интеллигенции стал вопросом взаимоотношения двух технических подвидов – интеллигенции, находящейся у власти и якобы выражавшей интересы «трудового народа», и прочих, оставшихся вне процесса. Причем, первые, «победители», отличались крайней степенью нетерпимости и самоуверенности, продиктованной их прогрессистским воспитанием. Бессмертная фраза: «Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. А на деле это не мозг, а говно». Автор – потомственный русский дворянин, интеллигент до мозга костей В. Ульянов-Ленин. Проще всего обидеться, дескать, «сам дурак». Но, положи руку на сердце, так уж ли неправ оказался вождь пролетариата насчет «лакеев капитала»?¹⁰

Что могло объединить эти две интеллигенции – «передовую», захватившую власть, и всю прочую? На заре Советской власти, в 1919 году отец евразийства В. Вернадский писал: «Сейчас главнейшей силой, спаивающей новое русское государство, будет являться великая мировая ценность – русская культура во всех ее проявлениях» (19). Культура! Распространение ее в огромной, почти неграмотной стране! Казалось, эта высокая цель, будет признана общей всеми, ибо просвещение народа испокон века считалось важнейшим вопросом преобразования государства на новых, прогрессивных основах. Проверка истинных чувств наступила быстро: выяснялось, что не так сей народ хорош, как снилось дореволюционным барышням. И офицеров на штыки поднимал, и усадьбы жег, и желчных, полных ненависти к соотечественникам слов И. Бунина в «Окаянных днях» ох как заслужил.

Не был народ ангелом или богоносцем. И многие, особенно в лагере проигравших Гражданскую войну, остро в нём разочаровались. Остались либо самые верные, не боявшиеся черной работы, либо те, кто просто не мог этой работы избежать. Отмечая пафос социального творчества 1920-х годов, надо понимать, что массы создавали новые общественные отношения противоречиво и зачастую примитивно, в меру собственных представлений и сил. Однако большевики, в отличие от либеральной интеллигенции, не отшатнулись, не испугались противоречия между низким уровнем культуры народа и необходимостью включения его в процессы модернизации страны.

¹⁰ И почему, когда обидчик интеллигенции испустил дух, легендарные махатмы Индии прислали в СССР послание, где говорилось, что умер самый великий человек на Земле, а великий экономист Кейнс, который в те годы работал в России, считал даже сам тип мышления Ленина выдающимся явлением культуры? Они что – глупее нынешних критиков были?

Большевики (по сути, радикальные левые интеллигенты) почти насильно втягивали в культурную революцию огромные массы простого люда – народа, который с давних времен видел в образованности только барскую забаву, а порой и просто враждебную силу. Вспомним, как в классическом советском кинофильме «Чапаев» главный герой, глядя на идущих парадным строем в «психическую атаку» белых офицеров, произносил только одно слово – «интеллигенция». Культурная революция потому и стала процессом противоречивым, разнонаправленным, поскольку на фоне всеобщего бескультурья и малограмотности знания, которыми обладали образованные люди, выглядели, как элитная собственность, которую невозможно конфисковать.

Новое государство постоянно балансировало на грани необходимости и ненависти. Необходимости в квалифицированных специалистах и ненависти к их прошлому. Большевики в своем фанатичном неприятии свергнутого строя отправляли на свалку истории тех, кто составлял костяк дореволюционного государства – чиновников, преподавателей, офицеров. Среди них 1920-х годов не редок был интеллигент «из бывших», который на французском, немецком и английском языках просил на хлеб, протягивая руку за подаванием¹¹.

Поначалу бывшая интеллигенция принципиально не принималась в расчет новыми строителями мира. Ей предоставили возможность прозябать на периферии общественного сознания, как монархисту Хворобьеву из «Золотого тельца»: *«Он, когда-то попечитель учебного округа, принужден был служить заведующим методологическо-педагогическим сектором местного Пролеткульта. Это вызывало в нем отвращение. До самого конца своей службы он не знал, как расшифровать слово “Пролеткульт”, и от этого презирал его еще больше. Дрожь омерзения вызывали в нем одним своим видом члены месткома, сослуживцы и посетители методологическо-педагогического сектора»*.

Слово «интеллигент» стало синонимом никчемного, далекого от жизни человека, чуждого трудящимся массам. «Бывшие», может, и рады были бы служить социалистическому отечеству, но послереволюционное поколение интеллектуалов их всячески отталкивало, видя в них политическую опасность большую, нежели потенциальную пользу.

Отсюда впадение в другую, антисоветскую крайность: дескать, кого отринула Советская власть – сплошь хорошие и дивные люди. Вот здесь и кроется одно из зерен грядущих разночтений. Сегодня уже принято с сочувствием относиться к духовным исканиям одного из самых знаменитых персонажей Ильфа и Петрова – незабвенного Васисуалия Лоханкина. Хотя именно подобные «искатели справедливости» внесли в дореволюционное время немалую лепту в радикализацию русского общества и дискредитацию духовных ценностей, «так что обличители соавторов могли бы не столь поспешно и безоговорочно принимать Лоханкина в свои ряды и брать под защиту» (21). Лоханкин – это не просто собирательный образ. «Роман “12 стульев”, надеюсь, все из вас читали, – сейчас я цитирую Валентина Катаева, брата одного из соавторов романа Е. Петрова. – Замечу лишь, **что все без исключения его персонажи написаны с натуры, со знакомых, друзей** (выделено мной – К.К.)» (22). Выписан и Лоханкин, типаж которого был массово представлен в 1920-е годы.

Бессмертна сцена насильственного кормления Васисуалия:

– *Это глупо, Васисуалий. Это бунт индивидуальности.*

– *И этим я горжусь, – ответил Лоханкин подозрительным по ямбическому тону. – Ты недооцениваешь значения индивидуальности и вообще интеллигенции...*

– *Ешь, негодяй! – в отчаянии крикнула Варвара, тыча бутербродом. – Интеллигент!*

¹¹ Ипполит Матвеевич кланчающий милостыню – отнюдь не фантастическая выдумка Ильфа и Петрова. Подобными людьми были наводнены улицы Советской России полтора десятка лет после революции. Французский журналист, посетивший Москву в 1929 году: «Нередко видишь, как старик с хорошими манерами приближается к группе людей или входит в трамвай и громко заявляет: «Я бывший губернатор Х. Я всегда был добрым и гуманным. Посочувствуйте, граждане. Я умираю от голода». Это действует безотказно» (20).

Интеллигенция принялась с интересом изучать свое отражение, изучать сочувственно, сопереживая, ведь «сопереживание» тоже показательная способность настоящего интеллигента. Лоханкин в глазах инакомыслящих становится едва ли не положительным героем, человеком, несправедливо пострадавшим от бесчеловечного режима. Сочувствующих пытался одернуть еще Аркадий Биленков – одна из звезд советского литературоведения 1950–1960 годов: «Ильф и Петров... осмеяли “Васисуалия Лоханкина и его значение”, “Лоханкина и трагедию русского либерализма”, “Лоханкина и его роль в русской революции” Авторы осуждали Лоханкина со всей решительностью эпохи, в которую создавались их книги. **И они, безусловно, были правы** (выделено мной – К.К.). Такого интеллигента и такое значение его, несомненно, следовало осмеять. Писатели видели вокруг себя... большое количество прототипов. А что не увидели, восполнили самоанализом» (23).

Двадцатые годы требовательно заставляли идти за собой, в то время, когда многим, потрясенным революцией, Гражданской войной и сменой общественного строя, хотелось просто жить. Но они сразу выпадали из бурно вертевшейся карусели общественной жизни и теряли все. В. Шкловский в газетной рецензии на «Золотого Теленка» указывал: “Золотой теленок” совсем грустная книга... Люди на автомобиле (Бендер и компания – К.К.) совсем живые, очень несчастливые... А в литерном поезде у журналистов весело. Весело и у вузовцев... Дело не в деньгах, не в них несчастье, дело в невключенности в жизнь» (24).

Снова в отечественную литературу возвращается хорошо знакомый ей тип «лишнего человека». И этот «лишний» прекрасно сопрягается с самоощущением множества людей. Возьмем, к примеру, встречу Остапа со студентами: *«В студентах чувствовалось превосходство зрителя перед конференсье. Зритель слушает гражданина во фраке, иногда смеется, лениво аплодирует ему, но, в конце концов, уходит домой, и нет ему больше никакого дела до конференсье. А конференсье после спектакля приходит в артистический клуб, грустно сидит над котлетой и жалуется собрату по Рабису¹² – опереточному комику, что публика его не понимает, а правительство не ценит. Комик пьет водку и тоже жалуется, что его не понимают. А чего там не понимать? Остроты стары, и приемы стары, а переучиваться поздно»*.

Реванша пришлось ждать слишком долго, а потому в современных оценках диалогии нынешние бунтари не стесняются: «Двенадцать стульев» – обывательский ночной горшок, слизь и блевотина», – ярится Э. Лимонов (25). Более научнообразно рассуждает И. Шафаревич: «Книги Ильфа и Петрова, приобретшие такую громадную популярность, были далеко не безобидным юмором. Говоря коммунистическим языком, они “выполняли социальный заказ”, а по более современной терминологии “дегуманизировали” представителей чуждых, “старых” слоев общества дворян, бывших офицеров, священников. То есть представляли их в таком виде, что их “ликвидация” не будила никаких человеческих чувств» (26). И в последнем утверждении доля истины имеется.

Интеллектуалы советского призыва имели за спиной опыт Гражданской войны и ЧК. Например, Е. Петров откровенно признавался: «Я вел следствия, так как следователей судебных не было, дела сразу шли в трибунал. Кодексов не было, и судили просто: “Именем революции”...» (27). А ведь такие слова, если вы забыли, произносились при расстреле. У многих выдвиженцев большевиков руки были по локоть в крови своих сограждан, виновных лишь в том, что они не приняли власть большевиков, а чаще всего расстрелянных просто как заложники.

Да и старший брат Е. Петрова – знаменитый писатель В. Катаев – тоже всякого насмотрелся: до революции ученичествовал у И. Бунина, служил офицером, награжден за храбрость и едва не был расстрелян красными. «В нем есть настоящий бандитский шик», – говорил о Ката-

¹² Рабис – Всесоюзный профессиональный союз работников искусств.

еве тонко чувствовавший людей О. Мандельштам¹³. Биографии авантюристов – братьев Катаевых – лишь песчинки из многих тысяч таких же, поднятых волной революции. Удивительное собрание пассионариев начинало возводить советский культурный проект в противостоянии со старой интеллигенцией, разномастными лоханкиными, преображенскими, барменскими...

«Я ловлю себя на мысли, что рай будущего, коммунистический рай будет состоять из одесситов, похожих на Багрицкого»¹⁴, – как-то заметил один из самых заметных писателей «одесской школы» И. Бабель. К школе относились сам И. Бабель, Э. Багрицкий, В. Катаев, И. Ильф, Е. Петров и многие другие из первого поколения истинных советских писателей. «Коммунистический рай» предназначался для них.

Молодые советские писатели, и прочая «красная интеллигенция» чувствовали себя при новом положении дел неплохо.

Они, как могли, свой строй пропагандировали и защищали, в том числе и словом. Эта, выдвинутая Советской властью публика, категорически не принимала остатки русских дореволюционных классов. В них она видела и конкурентов в стране, где грамотность была на вес золота, и идеологических противников, которые не смирились с воцарением новых хозяев жизни. У власти закрепились лишь те «из бывших», кто собственно входил в организацию большевиков, состоял в родственных связях с коммунистической элитой или очень громко декларировал ей свое одобрение, вроде поэтов В. Маяковского или В. Брюсова. Шестидесятники середины XX века являлись идеологическими наследниками этих победителей, «комиссаров в пыльных шлемах».

¹³ О Катаеве вспоминает вдова Осипа Эмильевича – Надежда: «Мы впервые познакомились с Катаевым в Харькове в 22 году. Это был оборванец с умными живыми глазами, уже успевший «влипнуть» и выкрутиться из очень серьезных неприятностей. Из Харькова он ехал в Москву, чтобы ее завоевать. Он приходил к нам в Москве с кучей шуток – фольклором Мыльниковой переулочка, ранней богемной квартиры одесситов. Многие из этих шуток мы прочли потом в “Двенадцати стульях” – Валентин подарил их младшему брату, который приехал из Одессы устраиваться в уголовный розыск, но, по совету старшего брата, стал писателем». (Н. Мандельштам, «Воспоминания», с. 267–268).

¹⁴ О популярности поэта Э. Багрицкого среди уголовников Одессы: «Беня Крик встал и чувственно произнес: *“Господа, послушайте. “Фарфоровый фонарь – прозрачная луна, в розетке синих туч мерцает утомленно, узорчат лунный блеск на синеве затона, о полусгнивший мол бесицмнно бьет волна... У старой пристани, где глуше пьяниц крик, где реже синий дым табачного угара, безумный старый бриг Летучего Корсара раскрашенными флагами поник...” Кто скажет мне, чьи это стихи?*» – стряхнув с себя поэтическое наваждение, спросил чтец. Все стыдливо молчали, и только звонкий девичий голос из отдаленного полумрака одиноко произнес желанное имя: “Багрицкого”. *“Браво, мадемуазель, – улыбнулся Беня и, оглядев зал, заключил с укоризной: – Это плохо, господа, что вы не интересуетесь поэзией. За ее развитием нужно следить”*».

IV

Отброшенная ходом событий дореволюционная интеллигенция в массе своей погибла под колесами победоносной колесницы новых правителей – либо в битвах Гражданской, либо в нищете послевоенных лет. Сотни тысяч эмигрировали, как Ф. Шаляпин или А. Вертинский¹⁵. Но оставались и другие ровесники века, люди образованные, интеллигентные, свободомыслящие – не эмигрировавшие, не погибшие, находившиеся в расцвете творческих сил. На них в 1920-е и начале 1930-х годов шла непрерывная охота. В пьесе А. Афиногенова «Чудак» один из героев говорит: «Ты забыл, верно, кто мы такие? Мы – канцелярские крысы, беспартийные интеллигенты... Нам нужно молча идти своей дорогой»¹⁶ (28). Один из них – бывший бело-гвардейский военврач М. Булгаков.

В мае 1931 года Булгаков писал своему другу и коллеге В. Вересаеву: «Занятость бывает разная. Так вот, моя занятость неестественная. Она складывается из темнейшего беспокойства, размена на пустяки, которыми я вовсе не должен был бы заниматься, полной безнадежности, нейрастенических страхов, бессильных попыток. У меня перебито крыло» (29). Отчаяние писателя продиктовано своей очевидной невостребованностью, враждебным отношением новой интеллигенции ко всему, что было дорого Михаилу Афанасьевичу. Но притом страна прекрасно без Булгакова обходилась – жила, строила, любила.

Творческая интеллигенция старой формации была покорена сравнительно быстро: к началу 1930-х недовольные либо убрались из страны, либо прикусили языки, либо втоптаны в грязь. Сложнее власти приходилось с технической интеллигенцией, которая обладала прочными и, самое главное, остро необходимыми в тот момент знаниями (особенно во время «великого рывка» первых пятилеток). И на протяжении долгих лет техническая элита страны составляла некую автономию – власть с ней считалась, хотя и неуклонно размывала, заменяя старых специалистов молодыми, преданными ей кадрами.

Свою версию трансформации технической интеллигенции в 1920-е и 1930-е годы дает А. Солженицын: «...как раз техническая, стоявшая на прочной деловой почве, реально связанная с национальной промышленностью и на совести не имевшая греха соучастия в революционных жестокостях, значит, и без нужды сплетать горячее оправдание Новому Строю и к нему льнуть, – техническая интеллигенция в 20-е годы оказала гораздо большую духовную стойкость, чем гуманитарная, не спешила принять Идеологию как единственно возможное мировоззрение, а по независимости своей работы и физически устояла притом. Процессы Шахтинский, Промпартии и несколько мелких в обстановке уже общей напуганности в стране успешно достигли своей цели. С начала 30-х годов техническая интеллигенция была приведена также к полной покорности» (31).

У Солженицына речь идет о нашумевших процессах, предшествующих политическим судилищам конца тридцатых, которые почему-то считаются едва ли не главными событиями в советской истории. В конце 1930 – начале 1931 года было официально объявлено о разоблачении сразу двух «вражеских» центров – «Промпартии» во главе с выдающимся инженером Л. Рамзиным и «контрреволюционного заговора», возглавляемого известным историком, академиком С. Платоновым. 6 апреля 1931 года мнимый «защитник интеллигенции» (лживая версия сегодняшнего дня) Н. Бухарин громогласно заявил, что «квалифицированная российская

¹⁵ Естественно, беглецы коммунистической пропагандой превращались в настоящих или мнимых врагов строя. Например, о Вертинском известный советский публицист Татьяна Тэсс презрительно писала: «Белогвардейский Пьеро, демонстрирующий в парижских кабаках свое обсыпанное трагической мукой лицо с глицериновыми глазами и лирический голос сифилитика» (30). А какие ушаты грязи были вылиты на Шаляпина, когда он отказался вернуться в Страну Советов!

¹⁶ Писатель-драматург Афиногенов трагически погиб в 1941-м во время попадания авиационной бомбы в ЦК ВКП(б). Он был эвакуирован в Куйбышев, а в этот роковой для себя день приехал в Москву и пришел в ЦК, куда попала немецкая бомба.

интеллигенция... заняла свое место по ту сторону Великой Октябрьской революции... Речь идет о целом слое нашей технической и научно-исследовательской интеллигенции, который оказался в лагере наших самых отъявленных, самых кровавых врагов... С врагом пришлось поступить как с врагом. На войне, как на войне: враг должен быть окружен, разбит, уничтожен» (32).

Не более чем через пять лет, все сумевшие выжить из этих «самых отъявленных врагов» были возвращены к работе. А Бухарин, расстрелянный в 1938 году, так и не узнал, что инженер Л. Рамзин в 1943-м был увенчан самой престижной наградой – Сталинской премией. В таких удивительных метаморфозах, а их было множество в то время, со всей яркостью выразился государственный поворот, который Л. Троцкий и многие другие объявили «контрреволюцией».

Что же произошло в СССР за несколько лет, если пламенный революционер был казнен, как и множество его единомышленников, а бывшие осужденные «монархисты» и прочие «контрреволюционеры» оказались обласканы властью? В чем суть «советского термидора», ежели использовать для описания этого процесса определение Троцкого? Напомню, что термидор – это месяц в календаре Французской революции, когда (27 июля 1794 года) в революционной Франции произошел государственный переворот. Пришедших к власти политиков, укротивших, наконец, кровавую вакханалию якобинцев, называли термидорианцами. По сути, они расчистили дорогу к власти Наполеону.

Трагичность сталинской эпохи состояла в том, что в тех исторических условиях сталинизм явился закономерным продуктом обеих революций 1917 года и самым простым способом для социалистического общества отстоять свое право на существование. Большевики похоронили надежды на рай, попытавшись построить этот рай на самом деле.

Вернемся к рассуждениям Солженицына о трансформации советской интеллигенции при Сталине: «В 30-е же годы совершилось и новое, уже необъятное, расширение “интеллигенции”: по государственному расчёту и покорным общественным сознанием в неё были включены миллионы государственных служащих, а верней сказать: вся интеллигенция была зачислена в служащих, иначе и не говорилось и не писалось тогда, так заполнялись анкеты, так выдавались хлебные карточки. Всем строгим регламентом интеллигенция была вогнана в служебно-чиновный класс... С тех пор и пребывала интеллигенция в этом резко увеличенном объеме, искажённом смысле и умаленном сознании» (33).

А. Солженицына раздражает факт количественного роста прослойки, который, по его мнению, существенно отразился на качестве интеллектуального слоя общества. Смешались понятие «советский служащий» и «интеллигенция». Но количественный рост образованного класса **закономерен** в стране, совершившей культурную революцию, создавшей мощную промышленную базу, нуждающейся в ее техническом обслуживании, создающей передовые вооружения и т. д. А вот удельное количество «пророков» на каждую сотню интеллигентов действительно снизилось. Одновременно само слово, наконец, перестало считаться ругательным. Быть образованным человеком стало престижным. Помните, Иван Бездомный у Булгакова еще не до конца уверен в интеллектуальных способностях профессора Стравинского (*«Он умен, – подумал Иван, – надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные. Этого отрицать нельзя!»*). А в конце романа Бездомный уже сам профессор и образованный человек.

Следуя логике А. Солженицына – сельский учитель, бухгалтер, скромный чиновник не может быть интеллигентом. Мы видим четкое стремление писателя отделить себя от рядовой интеллигенции, ибо «настоящий» интеллигент – это существо сверхдуховное, тонкозвучное и воздушное. Правда, в квартире у такого духовного существа, как я видел не раз, запекшаяся пыль и подозрительно пахнет кошками. Духовной особе не до таких мелочей – ей стихи и нравственную борьбу с режимом подавай.

Впрочем, к концу сороковых репрессии и тяжелейшая война выбили из интеллигенции всякое желание воевать с режимом в открытую. Максимум, надеялись на определенную его либерализацию.

«И в конце войны, и сразу после нее, – вспоминал К. Симонов, – довольно широким кругам интеллигенции казалось, что должно произойти нечто,двигающее нас в сторону либерализации... послабления, большей простоты и легкости общения с интеллигенцией хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали против общего противника...» (34). Однако реалии оказались прямо противоположны ожиданиям.

Эйфория после победоносной войны, несомненные успехи в деле восстановления хозяйства, мощь пропагандистской и репрессивной машины – всё вроде бы работало на создание монолитного общества. Но микротрещины уже обнаружились на полированном граните сталинской империи. Идеологическому ostracismу подвергалось все больше и больше произведений, которые раньше одобрялись и признавались. «Мое поколение вынуждено было зачастую из-под полы читать книги И. Ильфа и Е. Петрова, многие стихи С. Есенина... сатирические рассказы М. Зощенко... Всего не перечесать!» (35). Советский строй вступил в конфронтацию не с темной и презираемой крестьянской массой, как то происходило во время коллективизации, а со своей главной опорой – городом. Точнее, его наиболее динамичной составляющей – новой советской интеллигенцией.

Нарастал разрыв между новым социальным типом (молодого образованного горожанина среднего достатка) и строем жизни, приспособленным для удовлетворения простых нужд простых людей, что стало объективной причиной нарастающего недовольства. С. Кара-Мурза: «В старших классах и потом, в студенческие годы, было сильное ощущение, что ты – хозяин страны.

Не у меня одного, многие потом это отмечали... В отличие от школы, в университете было уже довольно много ребят, которые думали иначе и ощущали себя не хозяевами, а жертвами и противниками советского строя» (36). Советский строй медленно отвечал на принципиально иные потребности растущего городского населения, особенно молодежи. Назревали важные перемены.

V

«Воздух свободы», который сыграл со всем нашим обществом злую шутку, один из типичных штампов эпохи «оттепели». Дескать, именно он виноват в том, что целое поколение оказалось инфицировано вирусом вольнолюбия и непокорства. Но следы вируса мы наблюдаем еще раньше – в революционных, все сметающих двадцатых годах. Поколение «оттепели» рождено (в самом прямом, физиологическом смысле) в конце 1920-х – начале 1930-х – это дети тех самых комсомольцев-энтузиастов, либо затюканных ими интеллигентских отпрысков, либо коллективизированных крестьян. В их генетической памяти, в семейных рассказах, безусловно, жил дух послереволюционной эпохи. Они любили своих родителей, подражали им, восхищались романтикой их юности – это естественно. Рожденный в 1930 году человек, который, допустим, заканчивал вуз в год смерти Сталина, в 1953-м, входил в новую эпоху полным сил и желаний.

Политическое же рождение движения «шестидесятников» историки, как правило, связывают с XX съездом КПСС (1956 г.), развенчавшим культ личности Сталина. Так и с мифологемой XX съезда, который определенной частью общества выбран точкой нового летоисчисления. Ведь, если быть объективным, работа по либерализации общества, получившая позже название «хрущевской оттепели» началась много раньше, сразу же после смерти Сталина. Еще после Указа 27 марта 1953 года об амнистии, принятого по инициативе Л. Берии, к осени того же года вышли на свободу около 100 тысяч (из 580 тыс.) политических заключенных, имевших небольшие сроки. Также на пленуме ЦК, 2 апреля 1953 года, когда не прошло и месяца после смерти Сталина – тот же Берия обнародовал факты, что Сталин и Игнатьев злоупотребили властью, сфабриковав «дело врачей».

Не вдаваясь в оценку мотивов инициатив Берии в апреле-июне 1953 года, нельзя не признать, что в его предложениях по ликвидации ГУЛАГа, освобождении политзаключенных, нормализации отношений с Югославией содержались все основные меры «ликвидации последствий культа личности», реализованные Хрущевым в годы «оттепели». Летом последовала короткая и яростная борьба за власть между Берией и Хрущевым, и если бы победил первый, безусловно, именно его бы «шестидесятники» прославляли бы как великого реформатора.

«Почему?», – спросите вы. Отвечаю.

В своих воспоминаниях Хрущев, который еще недавно был из немногих членов Политбюро, кто лично участвовал в допросах заключенных, а ныне прославленный в веках «освободитель», пишет: «К 50-м годам у меня сложилось впечатление, что, когда умрет Сталин, нужно сделать все возможное, чтобы не допустить Берию занять ведущее положение в партии, потому что тогда конец партии. Я даже считал, что это могло привести к потере завоеваний революции, что он повернет развитие в стране не по социалистическому пути, а по капиталистическому» (37). Слышите, «по капиталистическому»!

Вслед за арестом и расстрелом Л. Берии по стране интенсивно распространялась информация, что он намеревался **распустить колхозы** и создать индивидуальные **фермерские хозяйства**. Берии и его подручным инкриминировали то, что они выступали за создание в СССР **рыночного хозяйства** и организацию совместно с капиталистическими фирмами **смешанных предприятий**. Исходя из озвученных тезисов, можно сказать, Берия – отец перестройки, последовавшей спустя тридцать лет после его смерти. Далее, уже после падения Берии, к 1 января 1955 года были освобождены еще 170,9 тысяч человек. То есть около половины политических заключенных получили свободу еще до того момента, когда Хрущев обрел единоличную власть (он стал полновластным правителем лишь 8 февраля 1955 года, отстранив Маленкова с поста предсовмина). А к 1956 году, к XX съезду партии, открывшемуся 14 февраля, уже обрели свободу более 80 процентов политзаключенных. Между тем, до сего вре-

мни широко распространено мнение, что будто бы только после хрущевского доклада на XX съезде действительно началось освобождение политзаключенных. Как видим, это не соответствует действительности.

Что же до самого хрущевского доклада, то его история такова. Академику П. Поспелову было поручено подготовить к XX съезду КПСС доклад «О культе личности и его последствиях». Однако на второй день съезда, 15 февраля 1956 года, Хрущев срочно перепоручил эту работу Д. Шепилову. «Он дал мне полный карт-бланш, – вспоминал Дмитрий Трофимович. – ... При этом никаких особых материалов у меня под рукой не было, только текст Поспелова...» Шепилов писал два с половиной дня. «Рукопись отдал Хрущеву, а сам поехал на съезд. Когда он потом читал доклад, я находил в нем свои целые абзацы. Но текст кто-то перелопатил». Помимо внесения возможных диктовок лично Хрущеву (он «сам никогда не писал») Шепилов допускал вмешательство хрущевских помощников Лебедева и Шуйского (38). Но самое примечательное состоит в том, что при этом были совершенно обойдены законные, уставные коллегиальные органы и нормы выпуска такого рода документов.

Как модно говорить, доклад произвел эффект разорвавшейся бомбы. Людям становилось плохо прямо во время заседания. Но значительно важнее оказались его отдаленные последствия, которые тогда предвидеть не мог никто. Писатель, автор самого термина «оттепель» (по названию его популярной в то время повести) И. Эренбург рассуждал в своих мемуарах: «Конечно, сразу после съезда, как и потом, я встречал людей, осуждавших разоблачение культа; они говорили о “роковом ударе”, якобы нанесенном идее коммунизма. Видимо, они не понимали, что пока существует социальное уродство капитализма, ничто не сможет остановить наступление новой экономики, нового сознания» (39). Сегодня мы наблюдаем абсолютный крах умопостроений знаменитого писателя, которого смело можно отнести к прозападному крылу российской словесности. Ведь Эренбург прекрасно знал Запад, подолгу там жил и о язвах капитализма знал не понаслышке, в отличие от его либеральных последователей. Он понимал, что не надо путать экскурсию с эмиграцией.

Некоторые говорили и о том, что у Н. Хрущева были личные причины мстить Сталину. Тот вроде бы приказал расстрелять его сына Леонида за воинское преступление. Тема важная и ее стоит коснуться поподробней. Так звучит популярная версия: «Хрущев не мог простить Сталину гибели своего сына Леонида, расстрелянного по приговору военного трибунала... Когда Сталин сказал: “В сложившемся положении я ничем вам помочь не могу, ваш сын будет судим в соответствии с советскими законами”, Хрущев упал на колени, умоляя, он стал ползти к ногам Сталина, который не ожидал такого поворота дела и сам растерялся... Сталин был вынужден вызвать Поскребышева и охрану. Когда те влетели в кабинет, то увидели стоявшего у стола Сталина и валявшегося в судорогах на ковре Хрущева...» (40).

Живописный рассказ, однако, более правдоподобной представляется версия гибели Леонида Никитовича в бою. Известно, что после того, как сын Хрущева не вернулся с боевого вылета, на его поиски были брошены огромные силы. «Командующий 1-й воздушной армией генерал-лейтенант авиации Худяков в течение месяца ждал результатов поисков Леонида... Все тщетно. Леонид как сквозь землю провалился. И Худяков направил бумагу Никите Сергеевичу: “В течение месяца мы не теряли надежды на возвращение Вашего сына, но обстоятельства, при которых он не возвратился, и прошедший с того времени срок заставляют нас сделать скорбный вывод: что Ваш сын – гвардии старший лейтенант Хрущев Леонид Никитич пал смертью храбрых в воздушном бою против немецких захватчиков”» (41). Я тоже думаю, справедливо предположить, что сын Никиты Сергеевича сложил голову в боях за Отечество, а некие личные причины, заставляющие приписывать события XX съезда лишь бытовой мести Хрущева Сталину, есть чистой воды черный пиар.

Симптоматично само появление такой легенды – люди искали разумного объяснения внезапного свержения кумира его недавним соратником. Многие мифы создавались веками и

веками гасли, рассеивались, забывались. А ранней весной 1956 года миф о Сталине был разбит сразу, в один час. Видимо, партийное руководство рассчитывало, что толпа охотно растопчет ногами повергнутого деспота. Казалось, страха нет – топчите! Просчет состоял в том, что партийная верхушка всё же не рискнула тогда выплеснуть всю правду в народ – доклад Хрущева оказался полужасекречен. Сознательное сообщение неясных, противоречивых или двусмысленных данных оставляет впечатление неудовлетворенности (что от нас скрывают?) даже после того, как становится доступной более подробная информация.

Трудность перепрограммирования состоит не во вбросе новых впечатлений или свежих идей, а в изменении уже утвердившегося мнения. Многие просто не поверили, инстинктивно (и во многом справедливо) угадывая за сенсационным разоблачением Сталина политическую возню кремлевских группировок. Сегодня о тех сомневающихся мало говорят, поскольку они не вписываются в концепцию радостного освобождения от сталинского ига, принесенного хрущевской демократизацией. А значит – ставится под сомнение вся идеология «шестидесятников». Да и тогда, разумеется, информация о массовом недовольстве «освобожденных» была засекречена.

А информация имела, и неутешительная. Так, сразу после съезда, 5 марта 1956 года, на родине Сталина, в городе Гори начались массовые беспорядки. В годовщину смерти вождя к домику, где родился «отец народов», пришло около 50 тысяч человек, главным образом молодежь. Начался стихийный митинг. Выступавшие на площади уверяли толпу, что она не одинока, что подобные митинги проводятся и в других городах СССР. Заодно ругали Хрущева и все московское начальство за клевету на Сталина. Волнения быстро перекинулись в Тбилиси, где толпа собралась у Дома правительства и под продолжительные гудки машин выкрикивала: «Слава великому Сталину!». Несколько человек прочитали стихи о Сталине. Хор исполнил песни в его честь. Как видим, настроенный сегодня крайне демократично грузинский народ тогда мыслил иными категориями.

К концу того дня число манифестантов достигло целых 70 тысяч человек. Митингующие выдвинули властям ультиматум: «9 марта объявить нерабочим траурным днем. Во всех местных газетах поместить статьи, посвященные жизни и деятельности И. В. Сталина. В кинотеатрах демонстрировать кинофильмы “Падение Берлина” и “Незабываемый 1919 год”. Исполнение гимна Грузинской республики в полном тексте» (то есть, со славословиями в честь покойного вождя – К.К.).

Вмешались силы правопорядка. В адрес пограничников, разгонявших толпу у Дома правительства, раздавались выкрики: «Зачем вы пришли сюда?», «Здесь армия не нужна!», «Русские, вон из города!», «Уничтожить русских!»... А когда по городу разнеслись слухи об убитых, зазвучал лозунг «Кровь за кровь»... Только во время столкновений у Дома связи и у монумента Сталину было, по данным МВД Грузии, убито 15 (из них 2 женщины) и ранено 54 человека (7 человек впоследствии умерли) (42).

События в Грузии стали первой ласточкой грандиозных волнений, характерных для всей хрущевской эпохи. Они напугали верхи, свернувшие вскоре либерализацию и дезавуировавшие Хрущева, но дали надежду некоторым радикально настроенным гражданам на возможное свержение всего советского строя. Хрущев не учел, что карательную политику нельзя отделить от государственной структуры, что критика сталинизма неминуемо должна перерасти в критику всего строя в целом. С. Кара-Мурза: «После XX съезда все размышляли о репрессиях... Хороших объяснений не было, у Хрущева тоже концы с концами не вязались, и каждый какую-то модель себе вырабатывал. Думаю, в этот момент неявно разошлись пути моего поколения. У многих стала зреть идея полного отрицания, в голове складывался образ какого-то иного мира» (43). Родился феномен «шестидесятничества».

Мы неспроста все время говорим о молодых людях эпохи. Важной демографической особенностью хрущевского периода являлось то, что в результате потерь во время войны зре-

лых мужчин (от 30 до 44 лет) было на 40 % меньше, чем молодых людей (от 15 до 29 лет). И это огромное преобладание молодёжи не могло не сказаться на характере своего времени. Аналогичная демографическая ситуация, характеризовавшая обилием молодежи, отличала и предреволюционную Россию с ее высочайшей рождаемостью, и СССР накануне «Большого скачка», поскольку более старшее поколение было выкошено Первой мировой и Гражданской войнами.

Нетерпеливость и неопытность юности, ее жажду перемен опытные политики всегда пытались использовать в своих целях. Другое дело, что когда революционные процессы выходили из-под контроля организаторов, они серьезно рисковали попасть под секиру (топор, саблю, пулеметную очередь) той же молодежи, переустраивавшей жизнь на свой вкус. Правда, в пятидесятые годы риска почти не было – революцию (десталинизацию) продиктовали сверху, ибо правящая элита устала жить в постоянном страхе и напряжении сталинизма.

VI

Недавно с интересом я посмотрел мюзикл «Стиляги» – поколение моих родителей показано в любовно-романтическом отсвете первой любви, противостоянии системе, романтики приключений. Молодость, яркие наряды, сумасшедшие рок-н-роллы, особый стиль жизни, который противостоит казенной серости «совка» и комсомола. Особо привлек мое внимание любопытный эпизод. Советский функционер (которого играет неподражаемый О. Янковский) вразумляя сына-стилягу, говорит, что и мы, мол, не лыком шиты, запрещенный фокстрот танцевали, но в нужный момент перестроились и пошли делать партийную карьеру. Даже изображает несколько фривольных танцевальных па. И сына так убеждает прическу стильную состричь и к реальной жизни приспособиться. Сколько таких приспособленцев, обычных беспринципных карьеристов оказалось у руля государства в критический для него момент не знает никто. Впрочем, истинной звездой стиляжеской эпохи – Л. Гурченко – фильм не понравился; вроде бы сказала: «Серость преувеличена» (44). Действительно, ведь в комедии «Карнавальная ночь» (фильма, с которого в 50-х годах началась звездная карьера Людмилы Марковны) играл якобы запрещенный (если верить сценаристам «Стиляг») джаз. Причем, он официально репетировал в Доме культуры. Кому верить? Современная доктрина диктует верить в худший вариант – «совок» это беспросветная серость и тотальные запреты.

Культовый писатель А. Кабаков в предисловии к мемуарам культового джазмена А. Козлова пишет: «Не рухнул бы чудовищный коммунистический рейх, если бы в пятидесятых не появились в СССР стильяги – молодые люди в американских пиджаках, сфарцованных у дверей “Националя”, в кустарных ботинках-“тракторах”, помешанные на джазе... Правильно делала власть, воюя с ними, клеймя в “Крокодиле”, выгоняя из институтов, ссылая за сотый километр – коммунистические начальники чуяли опасность, исходящую от этой пятой колонны свободного мира, ощущали их враждебный дух. К счастью, одолеть этих мирных людей оказалось труднее, чем любую интервенцию: они разложили целое поколение советских людей» (45). Резко, но по сути. «Рейх», «пятая колонна», «свободный мир», «разложили»... В приведенной цитате столько идеологических клише, которые отражают идеологию т. н. «шестидесятников», во всяком случае, в их радикальной части, что и нам не обойтись без краткого анализа движения «стиляг».

Само слово «стиляга» вошло в обиход с легкой руки некоего Беляева, автора фельетона в «Крокодиле», в 1948 году. Это производное от слова «стиль». Подразумевался некий особый стиль жизни, одежды и поведения, который выделял исповедующих его среди остальной массы советской молодежи. Стиль подразумевался свободный, т. е. западный, вплоть до подражания наиболее сомнительным аспектам американской жизни. Так, в 1954 году в Ленинграде были изловлены доморощенные «гангстеры», при одном из которых обнаружили текст присяги: «Я, член банды гангстеров “Чистокровные американцы”, перед лицом нашей банды клянусь, что я буду выполнять все приказы банды, хранить все наши дела в тайне, выполнять наш девиз – убивать тех, кто посягнет на честь нашей банды. Если я изменю, то вы меня прикончите как последнюю собаку или устроите суд “Линча”» (46). Дальше шли фамилии и подписи шести человек. Большинство из них оказались, как говорится, детьми порядочных родителей – полковника Советской армии, начальника отдела крупного завода, механика института, директора магазина. Все «чистокровные американцы» были членами ВЛКСМ, имели неплохую репутацию в школе и хорошо учились.

Но это были только цветочки. «Отравленные идеологией мертвечины, с трудом освобождающиеся от гипноза сталинщины, натерпевшиеся от чиновников, мы жаждали свести счеты с давящей человека системой», – свидетельствует о настроениях своих современников Эльдар Рязанов (47). От уголовной, гангстерской романтики, весьма объяснимой в стране, где многие

прошли отсидку в лагерях, молодежь быстро переходила к политическим обобщениям. Противовесом закованной в форменную одежду советской публике демонстративно провозгласила себя значительная часть молодежи, одевавшаяся с вызовом, подчеркивавшая свою естественную связь с заграничной культурой, спланивавшаяся в неформальные молодежные группы.

С интересом за пестрым бунтом наблюдали старшие товарищи, которые, впрочем, отмечали поверхностность протеста, его подражательность превратно понятым западным стандартам: «Хочется культуры, знаний; хочется, чтобы жизнь стала европейской наконец-то и для России... Хочется перенимать все иноземное, – платье, теории, искусство, философские направления, прически, все, – безжалостно откидывая свои собственные достижения, свою российскую традицию», – даже дочь Сталина, Светлана Аллилуева сочувствует юным нигилистам, хотя и мягко критикует очевидное попугайство (48).

После легкой оторопи, власть (а дело происходило уже после смерти Сталина и расстрельный вариант решения проблемы стал неактуален) задействовала против стилигов целый арсенал средств воздействия: от сравнительно мягкого насилия (комсомольские рейды с разрезанием брюк и принудительной стрижкой модников) до исключения из вузов и осмеяния в прессе и на эстраде.

Популярная тогда певица Нина Дорда под аккомпанемент оркестра Эдди Рознера, недавно вернувшегося из магаданских лагерей, пела песню о стилиге:

«Ты его, подружка, не ругай, / Может, он залетный попугай, / Может, когда маленьким он был, / Кто-то его на пол уронил, / Может, болен он, бедняга? / Нет – он просто-напросто СТИЛГА!». Последняя фраза выкрикивалась всеми оркестрантами, одновременно показывавшими пальцем на трубача маленького роста, вынужденного изображать этого морального уродца. А в предисловии к собранию сочинений Ильфа и Петрова, тому самому культовому оранжевому пятитомнику 1961 года, отмечалось:

«У Элочки-людоедки вообще никаких убеждений нет... Она просто двуногое млекопитающее... Она живет и доныне. Мы встречаем ее иногда среди молодежи нашего времени, среди девушек и юношей. Они называются теперь стилигами» (49).

Так-таки и «двуногие млекопитающие»? На самом деле из этой среды вышли многие нестандартно мыслящие люди, вскоре ставшие гордостью отечественной культуры. Именно те, для которых свобода творческого мышления является основой профессии. «Мы с Тарковским учились в одном классе. Он был единственным стилигой, ярким вызовом в серой гамме нашей школы. Зеленые брюки венчал оранжевый пиджак, сфартцованный у редкого тогда иностранца», – вспоминает о юности классика мирового кинематографа А. Вознесенский (50). Значит, все-таки не законченные тупицы пошли на конфликт с советским строем?

Власть проморгала момент, когда объективно и субъективно она отстала от уходящей вперед молодежи. Началась космическая эра, дававшая иное представление о развитии всего человечества, о границах дозволенного, диктовавшая новую моду в музыке и одежде. Даже новая музыка, все эти Пресли и Литтл Ричарды (а позже и «Битлз»), рождала иные химические реакции в мозге молодого человека, заставляла биться его сердце в иных ритмах. «На наше счастье, эпоха явилась к нам не только в образе волкодава¹⁷, но и в образе волчицы, выкормившей нас. Шестидесятники – это маугли социалистических джунглей» (Е. Евтушенко) (51). Маугли – пример поэтический, но, по сути, любопытный: этикие подкидыши, выросшие в джунглях социализма. А джунгли страшно далеки от цивилизации. Настоящая цивилизация, казалось, находится там, на вождельном Западе.

После смерти Сталина приподнялся железный занавес, и поток новой информации обрушился на изголодавшихся по ней советских людей. Л. Гурченко: «По Москве висели афиши, извещавшие о зарубежных гастролях джазового оркестра со знаменитым Бенни Гудманом, на

¹⁷ «Мне на плечи бросается век-волкодав», – О. Мандельштам.

других – имена певиц из Швеции и Германии, балетных трупп из Индии, Америки, Франции. Можно было понять, чего стоишь сам... Как вовремя раздвинулся занавес. Только в сопоставлении, только в мирной конкуренции можно познать свои силы, почувствовать, каков твой потенциал» (52).

Л. Гурченко, как мы помним, взлетела к вершинам славы после премьеры легендарного фильма Э. Рязанова «Карнавальная ночь», ставшего своего рода гимном эпохи. Его с упоением восприняла вся – именно вся, без исключения молодежь страны. Режиссер вспоминал: «Мы искренне и азартно высмеивали надоевшее старое и косное... Эта схватка отражала несовместимость двух начал – казенного, так называемого “социалистического”, и творческого, общечеловеческого...» (53). Обратите внимание, на противопоставление – «социалистическое» и «общечеловеческое». Об это слово мы еще не раз споткнемся во времена перестройки, и позже, уже после краха страны.

Ну и, конечно же, стихи! Кадры хроники, точнее, фрагменты фильма, где молодые поэты – Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина читают свои стихи в переполненных аудиториях! А случалось – и на стадионах! Е. Евтушенко: «Поэты моего поколения, сами того не осознавая, стали родителями нашего воскрешенного общественного мнения. Стихи опять, как и в пушкинские и Некрасовские времена, становились политическими событиями» (54). Вот они – «Дети XX съезда» в чистом виде. Уместно говорить не о кучке поэтов, но о миллионах тогдашних молодых людей, зрителей и слушателей, которые не выступали в печати и не снимали кинофильмы, но были, в общем, заодно с тогдашними молодыми «идеологами». У немногих хватило проницательности увидеть за буффонадой стихотворных вечеров в московском Политехе внутреннюю пустоту движения. Среди них будущий диссидент Илья Габай, в начале 1960-х саркастично отзывавшийся об увиденном:

*Броско! А вчитаться – плохо, тускло
То, что нам они пролепетали.
Мы с тобой считали: Заратустры.
Оказалось: просто либералы...*

К этому же времени относится и новое прочтение эпохи 1920-х годов (с включением большинства вычеркнутых в сталинское время репрессированных партийцев, вроде Постышева, Косиора, Якира, отныне официально возвращенных в пантеон большевистской славы). А значит, и новое осмысление полузапрещенной диалогии об Остапе Бендере. Возможно, некоторые реалии прошлого, вроде фразы «Все учтено могучим ураганом» (пародии на романс Юрия Морфесси «Все сметено могучим ураганом») или бубличной артели «Там бубна звон» (слова из припева того же романса: «Там бубна звон...») и утратили для молодежи свою актуальность, зато явственно проявилось другое. Немеркнущая реальность советского бытия – то, что осталось с нами навсегда.

«Они (Ильф и Петров – К.К.) создали поразительную картину окружающего общества, которая нисколько не потеряла своей силы и яркости десятилетия спустя», – писал советский историк и литературовед Я. Лурье в книге о знаменитом литературном тандеме «В краю непуганых идиотов». Русский писатель-эмигрант В. Набоков – большой сноб, для которого было мало авторитетов даже среди литературных классиков – высоко оценил творение Ильфа и Петрова именно за умело найденный образ главного героя, позволявший им мимикрировать в условиях тотального соцреализма. «Два замечательно одаренных писателя решили, что если сделать героем проходимца, то никакие его приключения не смогут подвергнуться политической критике, – отмечал он. – Поскольку жулик, уголовник, сумасшедший и вообще любой персонаж, стоящий вне советского общества, не может быть обвинен в том, что он недостаточно хороший коммунист или просто плохой коммунист» (55).

Оранжевые тома собрания сочинений Ильфа и Петрова как бы осветили своим отблеском всю хрущевскую оттепель. Еще недавно запрещенные авторы с трагической (хотя и вне репрессий) судьбой обрели второе рождение. Безопасные по факту своей смерти для власти и для либералов, с некой язвительной ноткой по отношению к социалистической действительности, традиционным для классической русской литературы и вновь актуальным в Стране Советов образом «лишнего человека»¹⁸.

«Эх, Киса, – сказал Остап, – мы чужие на этом празднике жизни». Кто из нас в горести не повторял этих слов? Если раньше «настоящая жизнь пролетала мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями», то постепенно быть «лишним» в СССР становилось модно.

Десятки тысяч людей сознательно выпадали из системы, минимизировали свое общение с ней, уходили во внутреннюю эмиграцию. Количество «лишних людей» постепенно увеличивалось и делало лишней саму систему. Джазмен А. Козлов: «Вот ВНИИТЭ, где я некоторое время работал, было для многих людей, в том числе и для меня, не просто местом получения мизерной, но гарантированной зарплаты. Здесь можно было отсидеться хоть всю жизнь, не вылезая и даже иногда делая какие-то интересные вещи, при этом не притворяясь верно-подданным. Главное было не обнаруживать своих истинных воззрений, общаясь откровенно только со своими. Такое состояние души у интеллигентных людей иногда называли внутренней эмиграцией». И далее: «Постепенно в среде сотрудников ВНИИТЭ сами собой сблизилась те сотрудники, которые одинаково относились к Системе. Именно в этом узком кругу я приобщился к теоретически обоснованному и спокойному неприятию большевизма, основанному на глубоком знании всех его пороков и противоречий, его беспощадности и лживости» (56).

Люди уходили из системы сознательно, а порою даже демонстративно. Тот же Венедикт Ерофеев 17 лет (с 1958 по 1975 г.) жил без прописки, то есть просто не существовал как гражданин государства.

«Вот и я, как сосна... Она такая длинная-длинная и одинокая-одинокая-одинокая, вот и я тоже... Она, как я, – смотрит только в небо, а что у нее под ногами – не видит и видеть не хочет... Она такая зеленая и вечно будет зеленая, пока не рухнет. Вот и я – пока не рухну, вечно буду зеленым...», – философствует он в своих «Записных книжках». Прямо недостающее звено между «Клен ты мой опавший» С. Есенина и «Дерева вы мои, деревья» Е. Бачурина. Ах, эти песни под гитару, наслушался я их в своем детстве повсюду: «...собирались молодые поэты, барды-песенники. Было время романтизма, песен у костра, походов в горы. У городской интеллигенции того времени это был чуть ли не единственный способ самовыражения. Новый человек XX века со своим энтузиазмом открытия и творческого преобразования мира, придя на смену лишнему человеку XIX века, сам оказался ненужным, а потом и опасным для господства бюрократии» (57).

Эта ненужность, казалось бы «родному» и «своему» государству, эта объективная ситуация личного бессилия породили в советской культуре феномен «эмиграунда»¹⁹. «Вирус эмиграунда можно было подхватить где угодно, поскольку «самодеятельность» не поощрялась в любой сфере жизни, а особенно – в сфере идеологии (куда входили также литература и искусство). Именно отсюда проистекло парадоксальное западничество советской интеллигенции, к началу 80-х почти поголовно ушедшей в эмиграунд» (58). Наша интеллигенция смиренно пришла к заключению, что «они», то есть заграница, все знают и умеют, мы же ни черта не знаем и не умеем, и такова наша доля – плестись в хвосте.

¹⁸ «Главные черты «лишнего человека»: отчуждение от официальной жизни России, от родной ему социальной среды... по отношению к которой герой осознает свое интеллектуальное и нравственное превосходство, и в то же время – душевная усталость, глубокий пессимизм, разлад между словом и делом, и, как правило, общественная пассивность» (КЛЭ, 1962, С. 343).

¹⁹ Сращение терминов «эмиграция» и «андеграунд» – двух видимо различных, но сущностно единых форм социального и культурного отчуждения.

Богемная расслабленность гуманитарной интеллигенции в некоторой степени компенсировалась востребованностью массы технарей, служителей производства. Энергичная прослойка технической интеллигенции, без которой государству нельзя обойтись, даже образовала нечто вроде общественного мнения. «Одряхление режима проявляется, в частности, в том, что все труднее ему подчинить себе первую в истории Советского Союза сплоченную кастовыми интересами группу, требующую для себя определенных свобод, которыми никто в этой стране не обладает. Я имею в виду ученых» (59).

Появление некоего сплоченного общественного мнения не осталось незамеченным. Константин Паустовский отмечал в начале шестидесятых:

– Я оптимист! Я верю: все будет превосходно. «Они» выпустили духа из бутылки и не могут вогнать его обратно. Этот дух: общественное мнение (60).

Примерно в том же русле мыслила А. Ахматова, когда в разговоре с Л. Чуковской, дочерью Корнея Ивановича, отрицая возможность повторения массовых репрессий, сказала:

– Не может, и знаете почему? Нет фона, на котором Сталин весь этот ужас взбивал. Вот вам косвенный признак: теперешнее молодое поколение нас с вами понимает, не правда ли? Они для нас **ручные, свои** (выделено мной – К.К.), а тогда, в 29-м, в 30-м году, было такое поколение, которое меня и знать не желало... (61)

Совершеннейшая правда. Не взросло еще послевоенное поколение советской интеллигенции – достаточно молодого, чтобы не помнить кровавый сталинский термидор, достаточно образованного, чтобы его ценило государство, нуждающееся в технических специалистах. «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне...», – меланхолично замечает Б. Слуцкий. Но, в конце концов, и распоясавшихся физиков тоже начали прижимать. Так, например, 31 июля 1970 года газета «Советская Россия» опубликовала статью, исключительно остро критиковавшую научных работников, ученых – жителей знаменитого Академгородка возле Новосибирска. Автор статьи – первый секретарь городского комитета партии. Главный упрек – переоценка учеными своей роли в обществе, игнорирование указаний партии.

Объясняет это партийный секретарь несколькими причинами – молодостью ученых (средний возраст жителей Академгородка 32 года), оторванностью от жизни (они слишком много занимаются наукой, их не бывает на заводах и колхозах, не посещают занятия по политграмоте). Очень отрицательно влияет на ученых, по мнению автора статьи, обилие иностранцев, посещающих научный центр под Новосибирском. В одном только прошлом году (то есть в 1969) их побывало там около 3 тысяч (62).

Итак, интеллигенция наконец-то стала законодателем мод, в том числе моды в самом прямом смысле слова. Сумасшедшая популярность депрессивных писаний Ремарка и Хемингуэя, и присущая советскому образованному человеку некая томная усталость, загадочная опустошенность, печоринское разочарование. С другой стороны, все эти процессы совпали с массовым ростом числа интеллигенции: «Партийное и государственное руководство, правящий класс, в довоенные годы не давали себя смешивать ни со “служащими” (они “рабочими” оставались)... Но после войны, а особенно в 1950-е, ещё более в 1960-е годы, когда увяла и “пролетарская” терминология, всё более изменяясь на “советскую”, а с другой стороны, и ведущие деятели интеллигенции всё более допускались на руководящие посты, – правящий класс тоже допустил называть себя “интеллигенцией”» (А. Солженицын) (63).

Мысль Александра Исаевича верна в том аспекте, что постепенно слово «интеллигенция» не только перестало быть ругательным, наоборот, на фоне колоссальных достижений советской науки и культуры того времени даже партийцу числиться интеллигентом стало престижным. Интеллигентность – настоящая или мнимая, подтвержденная лишь дипломом специалиста – превратилась в религию десятков миллионов, а это подразумевает определенный кодекс интеллигентского поведения, включая политический либерализм и свободомыслие.

Разгул интеллигентского либерализма не мог не вызвать тревогу у тоталитарного государства – началось завинчивание гаек. Хотя с политикой власти оказались согласны не все даже в самой власти (начинающей числить себя «из служащих»). 1950-е оказались адекватны революционным 1920-м, а 1960-е – 1970-е годы аналогичны консервативным 1930-м. Маятник движения общества вновь качнулся от революции к стабильности, к государственничеству, если хотите – к застою.

VII

Вспоминая молодость, знаменитый драматург М. Розовский говорит в интервью перестроечному журналу «Огонек»: «Шестидесятники возникли во времени и пространстве, потому что история поставила наше поколение перед выбором... одни продолжали культивировать свою личную несвободу, оставаясь в рабстве, другие хотели построить мост свободы, мост внутреннего раскрепощения» (64). «Мост», значит, «раскрепощения»? Ладно, не будем придирааться к стилистике. Нас сейчас интересует политическая составляющая.

В. Кожин: «У комсомольцев конца 1940 – начала 1950 годов... хрущевская левизна могла найти горячую поддержку у активной части молодежи... Многие из нас были намного “левее” Сталина...» (65). Многие «шестидесятники» были, без сомнения, «левее», «коммунистичней» и самого Н. Хрущева, который не только многократно одергивал их «идеологов», но даже отправлял в заключение наиболее ретивых из них. Комсомольцам 1950-х было свойственно особое ощущение, которое роднило их с 1920-ми годами, революционной молодостью их отцов. То же ощущение победы после иностранного нашествия, что казалось сродни иностранной интервенции Антанты; победа над внутренними врагами (Великая Отечественная война являлась своего рода и Гражданской войной, если мы вспомним о сотнях тысяч коллаборационистов); такое же ожидание грядущих свершений – тогда индустриализации, теперь порожденных началом космической эры. Однако их энергия и напор наталкивалась на статику системы, уставшей от сталинских потрясений. Партия была уже слишком пожилой, консервативной и потрепанной, далекой от своих собственных идей мировой революции и революционного горения. «Ишь ты, какие! Думаете, что Сталин умер, – вопил Н. Хрущев, обращаясь к юному поэту А. Вознесенскому. – Никакой оттепели: или лето, или мороз... Партия не дает вам право на молодежь и всегда будет бороться, чтобы она, партия, представляла старое и молодое поколение» (66).

Но партийная бюрократия не могла импонировать новому поколению – ни «западникам», вроде стилига, ни новым комсомольцам, поклонникам «возвращения к ленинизму». Энергичному человеку жить при развитом советском социализме стало скучно, если не сказать – противно. И никакого выхода из этой скуки отечественный проект не предлагал. Более того, он прямо утверждал, что дальше будет еще скучнее. Тоска значительной части населения, особенно молодежи, – обратная сторона высокой социальной защищенности, важнейшего достоинства советского строя. Широко известен социальный феномен, состоящий в том, что самый высокий уровень самоубийств сегодня отмечается в странах благополучных, вроде Дании и Швеции, а во время испытаний, скажем, войны, уровень самоубийств в любой стране резко падает. Когда перед человеком стоят задачи элементарного выживания, времени на рефлекссию уже не остается. Очевидное благополучие не всегда друг человека.

В СССР все хуже удовлетворялась одна из основных потребностей не только человека, но и животных – потребность в «приключении». Как биологический вид, человек возник и развился в поиске и охоте. Стремление к «приключению» заложено в нас биологически, как инстинкт, и является важным фактором эволюции человека. Поэтому любой социальный порядок, не позволяющий ответить на зов этого инстинкта, будет рано или поздно отвергнут. У старших поколений этих проблем не существовало – смертельного риска и приключений судьба им предоставила сверх меры. А что оставалось, начиная с 1960-х годов, делать всей массе молодежи, которая на своей шкуре не испытала ни войны, ни разрухи? БАМ, водка и преступность? Этого мало. Риск и борьба возникали в столкновениях именно с бюрократией, с государством, что и создавало необходимый молодому смелому человеку «образ врага».

При этом, что очень важно, для молодежи реалии капиталистического общества давно остались в прошлом, что такое настоящая конкуренция советские люди могли только догады-

ваться. Отсюда очередной вывод: дескать, существующая в СССР экономическая система в корне неверна и, только дай нам «рынок», мы заживем как в развитых странах мира. Экономист А. Паршев: «Я чувствую, что причины “демократических” настроений у нас больше психологические. Большинство населения у нас по складу характера не производители, а потребители, за всю сознательную жизнь им ни разу не пришлось задуматься, как продать продукт своего труда, если таковой был. А покупали-то все!» (67).

В результате такое фундаментальное понятие для советской идеологии «человек как строитель нового мира» с определенного периода начало утрачивать свою общественную актуальность. Строительство коммунистического общества потеряло свою актуальность, во всяком случае, для думающих людей. Но пустые слова продолжали литься с официальных трибун, вызывая отвращение своим лицемерием и очевидной лживостью. Альтернативы не имелось. Во всё более широких кругах населения СССР, прежде всего в кругах интеллигенции, нарастало отчуждение от государства и ощущение, что жизнь устроена неправильно.

«Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян», – написанные в то время «Москва – Петушки» можно воспринимать как отражение краха системы ценностей пятидесятых, уничтожения романтики «воздуха свободы». Юность самого Ерофеева пришлась на конец 1950-х и 1960-е годы, он сам типичный продукт эпохи и знал, о чем писал.

О развале системы советских ценностей «детей XX съезда» подробно рассказывал в своем интервью один из культовых писателей-«шестидесятников» Б. Стругацкий: «В 1963 году, как вы помните, произошла историческая встреча Никиты Сергеевича с художниками в Манеже. И это событие потрясло нас. Шок. Достаточно было почитать газеты, чтобы понять – а мы были лояльными ребятами, – что во главе нашего государства стоят люди, называющие себя коммунистами, и на виду всего мира топчут искусство, культуру, интеллигенцию и лгут беззастенчивым образом... Начиная с “Трудно быть богом”, мы всеми силами, где только можем, боремся против лжи пропаганды. И защищаем интеллигенцию. Мы объявили ее для себя **привилегированным классом, единственным спасителем нации, единственным гарантом будущего** (выделено мной – К.К.)... “Трудно быть богом” возникла как повесть, воспевающая интеллигенцию» (68).

Прекрасное произведение, одно из самых моих любимых у братьев Стругацких. Однако обращу ваше просвещенное внимание, повесть не только воспекает интеллигенцию, но и совершенно определенно гласит, что интеллигенции и народу часто не по пути. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать главного героя: «Это безнадежно... Никаких сил не хватит, чтобы вырвать их из привычного круга забот и представлений. Можно дать им все. Можно поселить их в самых современных спектрогласовых домах и научить их ионным процедурам, и все равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лупит жена. И не будет для них лучшего времяпровождения».

Интересно сравнить этот текст с фрагментом из дневника Чуковского, его восприятия окружающего народа: «...все они в огромном большинстве страшно похожи друг на дружку, щекастые, с толстыми шеями, с бестактными голосами без всяких интонаций, крикливые, здоровые, способные смотреть одну и ту же кинокартину по пять раз, играть в козла по 8 часов в сутки и т. д.» (69). Ю. Нагибин, тоже великий гуманист: «Как страшно всё бытие непишущего человека. Каждый его поступок, жест, ощущение, поездка на дачу, измена жене, каждое большое или маленькое действие в самом себе исчерпывает свою куцую жизнь, без всякой надежды продлиться в вечности. Жуткая призрачность жизни непишущего человека...» (70). Бунтарь Э. Лимонов: «Пользуясь случаем, я кричу этому сраному народу: кто вы, ё... вашу мать всех! Кто? Не важны вы все, как мальки в той воде, стекли вы в канализацию жизни. Важен только странный мальчик в плавках, смотрящий на вас. (Это он о себе – К.К.) И чтобы он вас заметил, подняв свой взгляд от мальков, тритонов и головастика. А не заметил, ну и нет вас» (71). И

на ту же тему снова Ю. Нагибин: «Ну, а как же с людьми нетворческими? Так эти люди и не жили. Действительность обретает смысл и существование лишь в соприкосновении с художником» (72). Тексты написаны приблизительно в одно и то же время, хотя и людьми разных поколений. Они отражают общий настрой класса интеллектуалов – интеллигенция превыше всего!

Аналогичные примеры можно множить далее, однако суть ясна: значительная часть интеллигенции выступила антагонистом по отношению к собственному народу. По сути, бросила ему вызов. Пока в завуалированной форме, что-то вроде дули в кармане; искусство ради искусства, свобода – достояние избранных и другие сентенции из жизни общества неравных возможностей. Но это становилось предпосылкой для появления и развития таких противоречий, разрешение которых лежало за пределами уже самой культуры, а в системе общественных отношений.

Вынужденный конформизм и расщепленное сознание интеллигенции не могли стать основой для истинного сотрудничества. Приспособленчество – да; но и измена при первой возможности. Тот же Е. Евтушенко точно выразил новое кредо современной ему либеральной интеллигенции, вложив его в уста некоего старого абхазского крестьянина Пилии – за народной мудростью всегда легко маскировать собственные суждения: «За справедливость не всегда надо бороться со слишком открытой грудью – потому что тогда сделают хуже и тебе, и справедливости. За справедливость надо бороться с умом, но не слишком хитро, потому что тогда твоя борьба за справедливость может превратиться только в борьбу за твое собственное существование» (73).

Приспособленчество отнюдь не мешало продолжать держать в зачатке заветную дулю. Более того, двуличие предполагало некую занятную игру – и оппозиционность соблюдать, и социальные блага от строя получать. Своя квартира, возможность роста по службе, диссертация – вот необходимый минимум, без которого советский интеллигент 1970-х годов уже не мыслил своего существования. Он считал эти требования как нельзя более естественными. И чем больше они приближены к высоким западным стандартам, тем лучше. «Если взглянуть на интеллигенцию сегодняшнюю, то, прежде всего, бросается в глаза одно отличие ее от былого: буржуазность. Буржуазность в манерах, в одежде, в обстановке квартир, в суждениях. Аскетизм, который и раньше был рудиментом, исчез теперь почти бесследно, – рассуждает в своей классической работе «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура», написанной в конце 1960-х годов, советский философ В. Кормер. – Интеллигенция сегодня стремится к обеспеченности, к благополучию и не видит уже ничего плохого в сытой жизни. Наоборот, она страдает, когда ее спокойствие и размеренный порядок бытия вдруг нарушаются» (74).

Золотая осень режима. Прослушивание западных радиоголосов, бытовое пьянство и романтическое чтение «Мастера и Маргариты». Ядовитый Э. Лимонов о культовой книге эпохи: «Мастер и Маргарита»: «...хрустальная мечта обывателя: возвысить свое подсолнечное масло, примус, ночной горшок, ЖЭК до уровня Иисуса Христа и прокуратора Иудеи, сбылась в этом обывательском московском бестселлере» (75)²⁰. Хотя знаменитый харьковчанин, как мне представляется, и перегнул палку, но все же довольно верно подметил страсть отечественной интеллигенции к смакованию типических негативных явлений 1930-х годов, ярко описанных М. Булгаковым, их обобщения до уровня высокой философии, оправдывавшей антисоветский выбор: мол, «совесть литературы», Михаил Афанасьевич, и тот с нами заодно! Царило всеобщее убеждение, что «совок» – это плохо, убери его и все наладится. Сейчас этот примитив как-то и вспоминать неловко. Но тогда это звучало аксиомой.

²⁰ Сцены из романа переходят в массовое сознание, используются для сравнений и обобщений. Например, Е. Евтушенко, рассказывая о персонале правительственной больницы, использует понятные всем сравнения: «...красномордые повара, уносящие из кухонных партийных остатков каждый день не меньше осетрины, да еще и черной икорки, чем булгаковский метрдотель Арчибальд Арчибальдович...». Взаимосвязь литературы и жизни (76).

«Шестидесятники» сначала относили себя к революционным романтикам, продолжателям дела революционеров 1920-х годов, требовали «очистить дело Ленина» от налета сталинщины, демократизации внутрипартийной жизни, хотели большой открытости страны миру. Когда власть, напуганная эпидемией массовых беспорядков в стране, начала закручивать гайки, интеллигенция ушла в глухую оппозицию. Она посчитала наведение порядка («порядка» в понимании партийных бонз) рецидивом сталинизма. В борьбе с существующим режимом она научилась пользоваться новыми ресурсами – самиздатом, апеллировать к мировому общественному мнению, работать с иностранными корреспондентами. Поскольку «холодная война» подразумевала, в частности, борьбу за создание благоприятного имиджа СССР за рубежом, власть довольно болезненно относилась к попыткам дискредитировать советский строй в глазах мировой общественности, что придавало инакомыслящим уверенности в своих действиях. Одновременно упрощенное понимание процессов, происходивших как в мире, так и в стране, приводил наиболее воинственную часть интеллигенции к отрицанию любого компромисса, видению всего происходящего только в двух цветах – черном и белом. С другой стороны, более конформистская часть общества, оставаясь при этом внутренне оппозиционной к режиму, ушла в глухой «эмиграунд» либо в разнузданный гедонизм. То, что общество многослойно, что проблемы взаимосвязаны и взаимообусловлены, что видимость, как в русской матрешке, не всегда отвечает содержанию, нам еще только предстояло понять.

Глава 2

Была такая партия

I

Итак, к середине 1960-х годов в СССР сформировалась целая прослойка либеральной интеллигенции, которая охотно примеряла на себя бендеровскую (не путать с бендеровской) формулу «Мне скучно строить социализм». Давайте попытаемся разобраться, что такое социализм и откуда он на нашу голову взялся? «Справедливость кретинов. Один раз я, другой раз ты. Равноправие идиотов», – ядовито писал И. Ильф, высмеивая упрощенное понимание этой доктрины многими своими согражданами (1). На самом деле социализм явление значительно более сложное и притягательное, нежели вчера полагали неграмотные крестьяне, а сегодня говорят правые политики, пещерные националисты и несведущая молодежь.

Г. Лебон, рассуждая о феномене социализма, отмечал, что современные теории общественного строя при очевидном их различии могут быть приведены к двум взаимно противоположным основным принципам: индивидуализму и коллективизму. При индивидуализме каждый человек предоставлен самому себе, его личная деятельность достигает максимума, деятельность же государства в отношении каждого человека минимальна. При коллективизме, наоборот, самыми мелкими действиями человека распоряжается государство, т. е. общественная организация. Как мы помним в недавнем прошлом, так оно, по сути, и было.

Надо понимать, что главным пропагандистом социализма и его радикальной формы – коммунизма – в начале XX века являлся сам капитализм с его действительной, а не выдуманной жестокой эксплуатацией, с его кризисами, безработицей, продажным политиканством, войнами. Популярность социалистических идей накануне Первой Мировой войны была такова, что упомянутый Лебон, который явно не относился к его поклонникам, обреченно просил только об одном: «Кажется, этого ужасного режима не миновать. Нужно, чтобы хотя бы одна страна испытала его на себе в назидание всему миру. Это будет одна из таких экспериментальных школ, которые в настоящее время одни только могут отрезвить народы, зараженные болезненным бредом о счастье по милости лживых внушений жрецов новой веры. Пожелаем, чтобы это испытание, прежде всего, выпало на долю наших врагов!» (2).

Однако революционный тайфун прошелся, в первую очередь, по основному союзнику Франции – царской России. Да и еще в разгар тяжелейшей для Франции войны с Германией. Почему же именно Россия, далеко не самая развитая в экономическом отношении держава? Вопрос, который смущал и самих российских марксистов: ведь, согласно доктрине, катализатором изменений должен стать многочисленный и сознательный пролетариат. А его в Российской империи еще не было, его предварительно нужно взрастить. Чем настойчиво и занималась революционная интеллигенция, мечтавшая о социальных переменах. Ребенок появился раньше, но его родители известны. Папаша сегодня отрешивается, но «сам большевизм – это, несомненно, эманация интеллигенции», – делает категорический вывод в своем эссе «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» В. Кормер.

Н. Бердяев в классической работе «Истоки русского коммунизма» справедливо указывал на особенности этой дрожжевой прослойки: «Интеллигенция была у нас **идеологической**, а не профессиональной и экономической группировкой... объединенная исключительно идеями и притом идеями социального характера». И далее: «По условиям русского политического строя интеллигенция оказалась оторванной от реального социального дела, и это очень способствовало развитию в ней социальной мечтательности...» (3). Что на Западе было научной тео-

рией, подлежащей критике, гипотезой или, во всяком случае, истиной относительной, частичной, не претендующей на всеобщность, у русских интеллигентов превращалось в догматику, во что-то вроде религиозного откровения.

Будем справедливы, для неприятия существующей действительности у прогрессистов имелись серьезные основания. Это сейчас, глядя на глянцевые фильмы о дореволюционной России, можно представлять ее прянично-медовой волшебной Империей, полной богомольцев, бубликов и поэтов. На самом деле страна страдала от вопиющих противоречий, нищеты, коррупции, заложенной в саму систему управления. Государственные служащие брали взятки почти официально по причине весьма скудного содержания, получаемого от правительства. Например, секретарь земского суда на 200 рублей ассигнациями в год – его официальную зарплату – семью прокормить просто не мог. Разведающая страну коррупция не оставалась незамеченной и для иностранных наблюдателей: «Существуют страны, например, Испания и Россия, где продажность судей и администрации, недостаток в честности дошли до такой степени, что подобные пороки не стараются даже чем-либо прикрывать» (4). Ненависть к мздоимству у честного человека трансформировалась в ненависть к самому государственному устройству.

А здесь еще и ошибки в промышленной политике. Скажем, введение в обращение золотого рубля, то есть конвертируемость валюты («реформа Витте»), спровоцировала неконтролируемый вывоз капитала из страны и подрыв позиций отечественного производителя. Как результат: экономический кризис 1900–1903 годов, массовое разорение промышленников и нищета рабочих. Начиная с 1904 года – новый кризис плюс русско-японская война. Безработица и голодные бунты, Кровавое воскресенье и революция 1905 года... В 1908 году и без того немаленький рабочий день был удлинен, а расценки снижены на 15 %. Из-за иностранной конкуренции даже водочный король Смирнов в 1910 году закрыл свое производство в России (что бы там ни писали на этикетках). Новый экономический кризис грянул уже в 1914 году и наложился на небывалую войну...

Бурлящий котел взорвался по многим причинам – хронические проблемы в экономике, неудачный ход войны с Германией, непопулярность правящей династии, настойчивое стремление либеральной интеллигенции использовать ослабление режима для радикальной перестройки государства. И – определяющий момент – вопиющая неспособность последнего царя, на которого так молятся сегодня, решать проблемы государства. Не надо недооценивать роль личности в истории. «Можно не сомневаться, что, находясь во главе правительства Витте или Столыпин, то они сделали бы все возможное и невозможное, чтобы страна не была втянута в гибельную для нее мировую бойню, положившую конец существованию монархии. Не вызывает сомнения, что они никогда бы не допустили развала и деградации МВД, что чрезвычайно облегчило либеральной оппозиции захват власти. А пользовавшийся огромным авторитетом в войсках генерал от инфантерии Редигер никогда не допустил бы солдатского бунта в столице в 1917 году и предательского капитулянтства высшего военного командования. Именно нерачительное использование людей, подозрение к воле, уму и независимости стали одной из главных причин краха государства и начала революционной смуты»²¹ (5).

Результатом стала буржуазно-демократическая Февральская революция. Французский посол при царском правительстве Морис Палеолог, симпатизировавший последнему императору, с отвращением отмечает в своих дневниках, что первыми дезертировали те, кто по праву

²¹ Задним умом крепкий, один из деятелей Февральской революции и Временного правительства В. Маклаков позже признал необходимость подавления русской революции 1905 года и разгона излишне революционизированной Первой думы П. Столыпиным: «Первая дума претендовала на то, чтобы ее воля считалась выше закона... победа правительства над думой оказалась победой конституционных начал...» (6) Но то, что посмел сделать Столыпин, не могла и не хотела сотворить свободомыслящая публика. Наоборот, она хотела безудержной демократии. И, кстати, памятники «реакционеру» Столыпину полетели с пьедесталов сразу после февраля 1917 года. Так что вовсе не большевики развязали ставшую для нас традиционной «войну памятников».

рождения должны были престол охранять, те, кто мнил себя элитой страны: «...За несколькими исключениями, тем более заслуживающими уважения, произошло всеобщее бегство придворных, всех этих высших офицеров и сановников, которые в ослепительной пышности церемоний и шествий выступали в качестве прирожденных стражей трона и присяжных защитников императорского величества» (7). И далее Палеолог приводит откровения либеральных вождей Февральской революции: «Маклаков, видевший ближе, чем кто-либо, революцию, рассказывает нам ее зарождение:

– Никто из нас, – говорит он, – не предвидел огромности движения; никто из нас не ждал подобной катастрофы. Конечно, мы знали, что императорский режим подгнил, но мы не подозревали, чтобы это было до такой степени. Вот почему ничего не было готово. Я говорил вчера об этом с Максимом Горьким и Чхеидзе: они до сих не пришли в себя от неожиданности» (8).

Подумать только – десятки лет осатанело раскачивали лодку и не подумали, что она может перевернуться – вот уровень мышления либеральной интеллигенции начала XX века. А ведь сценарий событий не являлся секретом для наиболее проницательных, почему «реакционный» писатель Достоевский мог предвидеть, а «прогрессивный» политик Маклаков нет? По тем же причинам либерального всеобщего ослепления, когда желаемое выдается за действительное, своя воля за всенародную, демагогия за истину. О последовавших событиях начала марта 1917 года Максим Горький напишет: «...главнейшим возбудителем драмы я считаю не “ленинцев”, не немцев, не провокаторов, а более злого врага – тяжкую российскую глупость» (9).

События развивались стремительно. Метания между псевдодемократической риторикой, приведшей к окончательному развалу армии, растущее разочарование народа в земельной политике правительства, вредоносность тайных пружин управления²². Палеолог с ужасом продолжает наблюдать, как власть уплывает из рук Временного правительства: «Милюков отвечает самыми успокоительными уверениями. Его речь достаточно пространна, чтобы дать мне время рассмотреть этих импровизированных хозяев России, на которых тяготеет такая страшная ответственность. Одно и то же впечатление патриотизма, ума, честности остается от всех. Но какой у них обессиленный вид от утомления и забот! Задача, которую они взяли на себя, явно превосходит их силы» (10). Там же: «Понедельник, 14 мая 1917 г. Военный министр Гучков подал в отставку, объявив себя бессильным изменить условия, в которых осуществляется власть, – “условия, угрожающие роковыми последствиями для свободы, безопасности, самого существования России”. Генерал Гурко и генерал Брусилов просят освободить их от командования. Отставка Гучкова знаменует ни больше, ни меньше, как банкротство Временного правительства и русского либерализма. В скором времени Керенский будет неограниченным властелином России... в ожидании Ленина» (11). Последнее замечание оказалось пророческим. Обратите внимание – на дворе еще май 1917 года. Значит, не столь уж неожиданным был приход к власти Ленина и его большевиков.

Ждали того, кто наведет порядок. «Есть такая партия», – помните ли вы такое полотно? 10 (23) июня 1917 года Ленин на заседании Первого съезда Советов (большевики составляли там незначительное меньшинство – немногим более 10 процентов) объявил, что его партия готова взять власть в России. В 1930-х годах и позднее реакция эсеров-меньшевистского Съезда на это заявление изображалась в виде приступа бессильной злобы, что и отражено художником Е. Кибриком, наряду с фигурой якобы сидевшего рядом с Лениным молодого Сталина. Между тем очевидец, известный литератор В. Полонский, вспоминал в 1927 году, как «в июне 1917 года Первый съезд Советов хохотал над заявлением Ленина... несколько минут, которые

²² Из 29 министров Временного правительства всех составов 23 были масонами. Три члена президиума ЦИК Петроградского совета первого состава (Керенский, тогда трудовик, и два меньшевика) были масонами и т. д.

показались мне очень долгими, съезд не мог успокоиться от хлынувшего на него веселья» (12). Но очень скоро стало не до смеха.

Следующая знаменитая картина. Ленин, со знакомой бородкой и усиками, выкинув руку вперед в так называемом «ленинском жесте», начинает свою речь уже перед Вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов историческими словами: «Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась». За Лениным на сцене в застывшем порыве его соратники, состав которых менялся от картины к картине в зависимости от их судьбы к моменту ее изготовления. В действительности, 7 ноября 1917 года сцены в зале не было, исторические слова были произнесены не на съезде, а в Петроградском Совете, в 14 часов 35 минут, когда революция еще не совершилась, сам Ленин был бритым, а В. Молотов вспоминал вдобавок, что когда незабвенный Ильич, провозглашая Советскую власть, приподнимал ногу, была видна протертая подошва его ботинка... Что же произошло между этими двумя сценками, от «есть такая партия» до «революция совершилась»? Да так, мелочь – крах либеральных иллюзий русской интеллигенции, ее ужас, когда она воочию увидела «освобожденный» ею народ – грабящий магазины, убивающий армейских офицеров, занимающийся самосудом на улицах Петербурга.

В январе 1918 года будущий видный большевик и заместитель наркома иностранных дел, а тогда еще меньшевик В. Майский жаловался: «Теперь растоптана душа социалистической интеллигенции, ибо её вере в народ самим же народом нанесён бесконечно тяжкий и мучительный удар... Случилось то, что часто бывает в истории: реальная жизнь обманула ожидания идеологов, она оказалась совсем не такой, какой её воображают себе люди мысли, слова и поэтические вдохновения... Оказалось, что народ слишком упрощено понял социалистическую интеллигенцию». Хотя, признает дальше Майский, народ искренне пытается «грубо, дико и неуклюже... претворить в действительность золотую мечту социализма, заброшенную в их сознание той же интеллигенцией!» (13).

Тезис проверен временем – некого винить, кроме себя. Вопрос, пожалуй, только в степени влияния интеллигенции на революционные процессы и как постепенно она утрачивала влияние на них.

II

Без проблем скovýрнув Временное правительство в октябре 1917 года, Владимир Ильич плотно засел в Смольном институте, в кабинете, с которого даже не успели снять табличку «Классная дама» (да и на других дверях грозного штаба революции комично красовались фарфоровые овальные таблички с надписями вроде «девичья» или «гранд-дама»). Но поначалу власть Ленина дальше Смольного института не распространялась. Приход большевиков был воспринят обществом с явным неодобрением. Наблюдались даже некоторые попытки протестовать, скажем, саботаж государственных служащих. Но большевиков поддержали пролетариат и военные гарнизоны обеих столиц, которые и определили, на чьей стороне победа.

Власть валялась на дороге, но не оказалось сил, кроме большевиков, которые рискнули бы её поднять. Тому имелись объективные причины – страна ждала выборов и созыва Учредительного собрания. Большевики рассматривались общественным мнением, как некая переходная форма правления, которая неминуемо сложит свои полномочия перед легитимным, всенародно избранным парламентом. Иначе они, дескать, станут вне закона и народ их попросту сметет.

Дата выборов Учредительного собрания ранее была определена в августе 1917 года и назначена на 12 (25) ноября. В октябре стали публиковаться списки кандидатов. Большевики, которые нередко весьма критически отзывались о самой идее этого Собрания, тем не менее, выставили своих кандидатов вместе с остальными тогдашними партиями. Захватив власть 25 октября (7 ноября) 1917 года, они не отменили выборы, которые и начались в назначенный срок – через семнадцать дней после большевистского переворота.

Итоги выборов, вроде бы, означали безусловную победу эсеров: они получили 40,4 процента голосов (17,9 млн. избирателей из общего количества 44,4 млн.), а большевики – только 24 процента (10,6 млн. избирателей). Остальные партии можно было после выборов вообще не принимать во внимание: кадеты – 4,7 процента (2,0 млн. голосов), меньшевики – 2,6 процента и т. п. При этом победа эсеров (почти в 1,7 раза больше голосов, чем за большевиков) всецело определялась голосами крестьян. Однако в 68 крупных – губернских – городах России дело обстояло абсолютно иначе: большевики получили там 36,5 процента голосов, а эсеры всего только 10,5 процента, то есть в 3,5 раза (!) меньше (14).

Власть в централизованном государстве находится не в сельской глубинке, где эсеры действительно пользовались тогда огромным влиянием, но в столицах. А выборы в Учредительное собрание с беспощадной ясностью показали, что эсеры фактически не имели в столицах **никакой** опоры. Так, в Петрограде за них проголосовали всего 0,5 процента избирателей, между тем как за большевиков – 45,3 процента, да плюс за союзных им левых эсеров 16,2 процента (в целом – 61,5). Нельзя не сказать и о том, что петроградский военный гарнизон отдал большевикам 79,2 (!) процента голосов, левым эсерам – 11,2 процента, а эсерам всего лишь 0,3 процента... В Москве эсеры получили больше голосов – 8,5 процента, но это, вероятнее всего, объяснялось тем, что здесь (в отличие от Петрограда) левые эсеры еще не «отделились», а кроме того, большевики получили в Москве 50,1 процент голосов, то есть больше половины, и 70,5 процента в московском гарнизоне (15).

Крестьяне отдавали свои голоса эсерам, вне всякого сомнения, потому, что эта партия с самого начала своего существования (1901 год) выдвинула программу превращения земли во «всенародное достояние» – программу, которую разделяло абсолютное большинство крестьян. Между тем большевики выдвигали проект передачи земли в распоряжение местных властей. Взяв власть, сторонники Ленина попросту подменили свою аграрную программу эсеровской («Земля – крестьянам»), но было уже поздно, до выборов оставалось всего 17 дней, и

при тогдашних средствах коммуникации эта «замена» едва ли стала известной основной массе крестьян.

Итак, секрет успешного захвата власти коммунистами – это не просто дворцовый переворот, а благоприятный момент их полного доминирования в столицах с перспективой присоединения к победителям проинформированных об их намерениях крестьян²³. И действительно, в решающий момент Гражданской войны крестьяне поддерживали большевиков. Да и не только крестьяне. Многие интеллигенты пошли именно за «партией пролетариата», поскольку увидели в ней зачатки государственного порядка, который все же лучше бесконечных бунтов. К августу 1919 года, то есть в разгар Гражданской войны, когда большевизм проявил себя уже в полной мере, только в центральных наркоматах работали 29122 «буржуазных специалиста». А прибавьте десятки тысяч специалистов на местах. И радикальная интеллигенция (даже разочаровавшиеся в большевиках эсеры), от идеи самой революции не отрекалась.

Б. Бабина, член партии эсеров с конца 1900-х, в своих мемуарах цитирует одно из эсеровских воззваний эпохи Гражданской войны: «...Страна горит в огне Великой Революции, которую мы же сами ждали, готовили, призывали, в необходимость и неизбежность которой так горячо верили!» (16) «Великая революция...», «Мы сами готовили...»

В целом потери образованного класса, в результате так долго пестуемой им революции, были огромны. Гражданская война почти истребила воспитываемый веками прозападный слой России. Из примерно пяти миллионов европейски образованных русских, составлявших элиту страны в предреволюционный период, в России после голода, Гражданской войны и исхода интеллигенции на Запад осталось едва ли несколько сотен тысяч, быстро оттесненных от рычагов власти новыми правителями. Созданы предпосылки для изоляционизма. Это был второй (после переноса столицы) фактор в пользу автохтона Сталина, вступившего в послеленинский период борьбы за власть с более космополитически воспитанными претендентами на российское лидерство²⁴ (17).

Война закончилась, оставив правящей партии огромное количество проблем: голод, разруха, колоссальная безработица. На этом фоне большевики пытаются даже насадить безденежные коммунистические отношения, видимо предполагая, что все зло в полном расстройстве финансового обращения страны и видя выход в стремительном броске к утопии. Один за другим в декабре 1920 года публикуются декреты, знаменующие переход к «военному коммунизму»: 4.12 «О бесплатном отпуске продтоваров»; 17.12 «О бесплатном отпуске товаров широкого потребления»; 23.12 «Об отмене платы за топливо»; 27.12 «Об отмене платы за пользование почтой, телеграфом, телефоном» и т. д.; 27.01.1921 «Об отмене квартплаты». Был подготовлен декрет об окончательной отмене денег и замены денежной единицы – трудовой («Тредом»). Казалось, обещанный коммунизм не за горами, и вдруг – Новая экономическая политика. Для множества преданных борцов с капитализмом НЭП оказалось шоком – значит, напрасны оказались их жертвы, растоптаны идеалы? Смириться казалось невыносимым. Утопия столкнулась лицом к лицу с действительностью. А действительность для фанатиков идеи оказалась такова: разрушенная и парализованная промышленность после войны

²³ Н. Бердяев о понятии «большевизм»: «Первоначально это слово совершенно бесцветно и означает сторонников большинства. Но потом оно обретает символический смысл. Со словом «большевизм» ассоциировалось понятие силы, со словом же «меньшевизм» – понятие сравнительной слабости. В стихии революции 1917 года восставшие народные массы пленялись «большевизмом» как силой, которая больше дает».

²⁴ Любопытно в этой связи вспомнить об одной телеграмме, с которой генерал Брусилов в 1917 году обратился к Временному правительству: «Солдаты, офицеры, генералы и чиновники Юго-Западной армии, собравшись, постановили довести до сведения Временного Правительства свое глубокое убеждение, что местом созыва Учредительного Собрания должна быть, по всей справедливости, первая столица русской земли. Москва освящена в народном сознании важнейшими актами нашей национальной истории; Москва исконно русская и бесконечно дорога русскому сердцу... Я от всей души присоединяюсь к этой резолюции и заявляю, в качестве русского гражданина, что считаю конченным петербургский период русской истории. Брусилов» (18). То есть, вопрос о переносе столицы в духовный центр страны был инициирован вовсе не большевиками.

не могла предоставить нужное количество рабочих мест, людям в городах нечего было есть, а бесчинства продотрядов, отбиравших в деревне продовольствие, довели крестьян до отчаяния²⁵. Нарастание экономических трудностей и безработицы в значительной степени усиливалось массовой демобилизацией: из рядов Красной армии в 1921–1923 годы были уволены более 3,5 миллионов человек.

Страна отвечала большевикам бунтами, самыми известными из которых стали жестоко подавленные Тамбовское восстание и Кронштадтский мятеж. Для примера: среди требований восставших кронштадцев были немедленное обеспечение свободы торговли, разрешение кустарного производства, разрешение крестьянам свободно пользоваться своей землёй и распоряжаться продуктами своего хозяйства, то есть ликвидация продовольственной диктатуры. По сути, это лозунги кустаря и крестьянина, то есть подавляющего большинства населения страны. Власть большевиков висела на волоске, и спасти ее могло только чудо, явленное народу в виде НЭПа.

Итак, в марте 1921 года большевики вынуждено провозгласили Новую экономическую политику, что подразумевало появление частного сектора в мелком производстве, сельском хозяйстве и сфере услуг. На некоторое время радикальные социалисты отступили, но недовольство затаили.

По сути, знаменитый эффект почти мгновенного наполнения прилавков после введения НЭПа, сродни нынешней «шоковой терапии», когда товары на полках появляются быстро, но просто по недоступным для большинства потребителей ценам. Так было в начале 1990-х годов прошлого века, в результате реформ Е. Гайдара. Так случилось и в 1920-е годы.

Сосуществование в одном государстве двух параллельных миров – капиталистического и социалистического – при общей нехватке товаров, давало огромный простор для злоупотреблений. Нэпманы подстерегали товары, имеющиеся в недостаточном количестве. Когда такой товар завозится в кооператив, они узнавали об этом от служащего, состоящего с ними в сговоре, и скупали всю партию по оптовой цене, чтобы затем перепродать ее значительно дороже. Вспомним историю обогащения Корейко: *«Он чувствовал, что именно сейчас, когда старая хозяйственная система сгинула, а новая только начинает жить, можно составить великое богатство. Но уже знал он, что открытая борьба за обогащение в Советской стране немислимая»*. Понимали это и нэпманы, и послевоенные спекулянты, и цеховики эпохи застоя. Советская страна действительно мешала открытому обогащению, за что, в конце концов, и поплатилась.

Нелепо предполагать, что СССР мог подавить накопительские частнособственнические инстинкты, или даже имел такую возможность. Взятничество и воровство всегда процветало в системе социалистического распределения благ:

«Остап покрутил носом и сказал:

– Это что, на машинном масле?

– Ей-богу, на чистом сливочном! – сказал Альхен, краснея до слез. – Мы на ферме покупаем.

Ему было очень стыдно...»

И доныне самый крупный куш достается тем, кто имеет доступ к распределению государственного бюджета. Другое дело, что до нынешней степени беззастенчивости советские торгаши не доходили. Расстрел за хищение в особо крупных размерах никто не отменял, и нэпманов казнили пачками. Мы же обратим внимание на прозвучавшее в приведенной цитате слово «ферма». По сути «фермер» в реалиях тогдашней действительности – это завуалированный «кулак». Очень скоро с ними начнется война не на жизнь, а на смерть.

²⁵ На злобу дня в украинских селах пели: «Був царь и цариця, булы хліб и паляница, а настали комуністи, и не стало чиги йисти».

Но в середине 1920-х экономическое оживление сыграло свою положительную роль в восстановлении страны. Если верить авторам «12 стульев», в некоторых городах появилось так много парикмахерских и похоронных бюро, что локальный спрос был полностью удовлетворен и даже наблюдался кризис перепроизводства.

Вообще, следует заметить, что представленные в «12 стульях» и «Золотом теленке» типовые ситуации и фирменные черты советской действительности являются точным слепком эпохи, вплоть до мельчайших деталей. В первом романе показаны аукцион «Главнауки» (антикварная горячка 1920-х годов); турнир в Васюках (шахматная истерия в СССР); пропаганда займов; авангардные постановки Гоголя; разговоры о близкой войне, о шпионах и белоэмигрантах; ялтинское землетрясение 1927 года.

Во втором романе: противохимические учения, автопробег, Турксиб и пятилетка; чистка, соевая кампания, арктические полеты и многое другое. Нарисованные в диалогии картинки жизни перестают быть разрозненными элементами фона и сливаются во всеобъемлющий образ обновленной России 1920-х годов, когда на десятилетия вперед закладывался фундамент советского общества. Скажем, отмеченные авторами тогда еще свежие канцеляризмы пугали еще многие поколения советских граждан: «Обеденный перерыв от 2 до 3 ч. д.», «Закрывается на обеденный перерыв», просто «Закрывается», «Магазин закрыт» и, наконец, черная фундаментальная доска с золотыми буквами: «Закрывается для переучета товаров». Сама мастерская по производству этих табличек, как мы понимаем, тоже примета НЭПа. И еще беспризорники. Именно беспризорник встречает Остапа Бендера, когда он впервые предстает перед читателем на страницах «12 стульев». Сотни тысяч сирот стали особой проблемой первых лет Советской власти. Их вылавливали, увозили в колонии, но они снова возникали на улицах и рынках, ходили стаями, играли в карты в глухих закоулках, спали в подъездах и в пустых асфальтовых котлах, воровали, выпрашивали папиросы и пели по трамваям блатные песни²⁶. Писатель К. Паустовский вспоминает в «Книге о жизни», как они с другом однажды подобрали тяжело больного беспризорника, пригласили старого доктора-армянина, который диагностировал у мальчика двустороннее воспаление легких. И далее между старым доктором и молодым писателем состоялся такой диалог: «Доктор снял его (*пенсне* – К. К.), поднес почти вплотную к старческим выпуклым глазам и спросил:

– Как это случилось?

– Что? С мальчиком?

– Нет! Как это случилось, что тысячи детей выкинуты, как котята, на улицу?

– Не знаю.

– Нет! – сказал он твердо. – Вы знаете. И я знаю. Но мы не хотим думать об этом...»

Ужасно, что ситуация с детьми сегодня, спустя почти сто лет, схожа. Мы тоже знаем, но молчим.

«Шурка Балашов умер через четыре дня, – вспоминает дальше Паустовский. – Долго после его смерти я не мог избавиться от чувства вины перед ним. Зузенко говорил, что никакой вины нет, что я – гнилой интеллигент и неврастеник, но под кожей на скулах у капитана ходили твердые желваки, и он без конца курил. Мальчика похоронили в мелкой могиле на краю кладбища. Все время шли дожди, сбивали гнилые листья и засыпали ими низкий могильный горб. Сейчас я, конечно, его уже не найду, но приблизительно знаю, где похоронено маленькое, беспомощное существо, совершенно одинокое в своем страдании» (20).

Насколько отличаются эти горькие, человеческие строки от писаний «лучшего журналиста эпохи» М. Кольцова, ярко демонстрирующего подход новой элиты к не своим детям. Запись

²⁶ Историк Геннадий Ижицкий о живучести субкультуры беспризорников: «...появилось весьма странное существо женского пола. В зубах она держала кусочек одеяла и неподобающим образом обращалась с иностранцами. А главное, цвет! «Она, она зеленая была»... Незабвенная «По улицах ходила большая крокодила» (19). Пели ее беспризорники двадцатых, пели и мы, дети семидесятых.

1927 года: «Жуткие кучи грязных человеческих личинок... еще копошатся в городах и на железных дорогах... еще ползают, хворают, царапаются, вырождаются, гибнут, заражая собой окружающих детей, множа снизу кадры лишних людей, вливая молодую смену преступников» (21). Сколько презрения и ненависти²⁷. Очень скоро она бумерангом обрушится на голову и самого автора, и всей коммунистической элиты.

Да, разумеется, для беспризорников было типичным объединение в группы с жесткой дисциплиной и властью вожака («вождя», «старосты»), между которыми шла жестокая уличная борьба, – настоящий клад для преступного мира (и фольклора). Но также эти сироты (кого удалось перевоспитать в специальных трудовых колониях) стали неисчерпаемым источником кадров для ГПУ-НКВД, ведь именно ГПУ целенаправленно вело работу по ликвидации беспризорности. На содержание колоний для сирот каждый чекист должен был отчислять десять процентов своей заработной платы. Органы заботливо патронировали колонии и вполне естественно в скором времени получили огромный резерв абсолютно преданных последователей и вымуштрованных исполнителей приказов. Когда сегодняшние либеральные интеллигенты возмущаются, откуда взялось у режима столько палачей для уничтожения элиты тридцатых годов, пусть вспомнят умершего малыша – сироту Шурку Балашова – и что привело его к смерти, какие прекрасные слова предшествовали Гражданской войне и смерти миллионов сограждан...

Но вернемся в двадцатые годы, оставившие в истории удивительно пеструю картинку, столь милую сердцу тех, чья молодость пришлась на то бурное время: «Крещатик был тогда не таким широким и холодно импозантным, как ныне. Он имел свою прелесть, особенно на отрезке от Думской площади (*майдан Независимости*) до Фундуклеевской (*улица Б. Хмельницкого*). На этом небольшом пространстве находилось пять кинотеатров, включая «Шанцер», с просторными фойе, украшенными мраморными колоннами, зеркалами в позолоченных рамах и бра в стиле «ар нуво». Помимо иностранных там шли и ленты юной советской кинопромышленности, например «Отец Сергей», «Аэлита» или «Кирпичики», по сценарию, навеянному популярной в те годы песенкой о любви работницы, замешивавшей глину, и грузчика Сеньки, ставшего, после назначения на пост красного директора, «товарищем Семеном». На Крещатике почти в каждом здании в полуподвалах работали заведения под вычурной вывеской «Бильярд-Пиво». Здесь после работы мужчины коротали время, гоняя шары и потягивая пенистый напиток. Прямо на тротуаре в специальных машинках изготавливали ароматные вафли с кремом. Тут же мальчишки продавали надувных, резко пищавших «чертиков» и упакованные в деревянные коробочки ириски. Кафе-кондитерских было не счесть...» (23). Таким запомнил город своей юности будущий личный переводчик Сталина В. Бережков, к воспоминаниям которого мы еще не раз вернемся. Таковой представляется и нам картина едва ли не праздничной юности советского режима. Но был ли праздник на самом деле? Вот основной вопрос понимания отечественной истории.

²⁷ Тот же Кольцов о трагической гибели императора Николая II и всей его семьи: «Кто в России вспомнит о кучке пепла под Екатеринбургом? Кто задумается о Николае? Никто. О ком вспоминать? О том, кого не было?».

III

Пестрота НЭПа иссякла довольно быстро и тому имелись веские причины. Еще 26 марта – 9 апреля 1926 года прошел Пленум ЦК ВКП(б) о хозяйственном положении, а 20 апреля 1926 года в «Правде» опубликован доклад Ф. Дзержинского «Борьба за режим экономии и печать». Там отмечалось, что себестоимость наших изделий почти в два раза больше довоенной, что создано много ненужных организаций, что лишняя рабочая сила превращает фабрику в собес, что государственный аппарат построен бюрократически. Докладчик подчеркнул, что «кампания по режиму экономии потребует длительного периода времени, может быть даже столько же времени, сколько мы должны ждать социализма» (24). «Режим экономии» и свободная продажа ресурсов несовместимы. Хотя большевики до времени и опровергали ширящиеся слухи о сворачивании Новой экономической политики: «Разговоры о том, что мы будто бы отменяем НЭП, вводим продразверстку, раскулачивание и т. д., являются контрреволюционной болтовней, против которой необходима решительная борьба» (Сталин в феврале 1928 года) (25). Это была ложь. Режим экономии, то есть резкое сокращение уровня потребления, был продиктован подготовкой государства к Большому Скачку – форсированной индустриализации страны. Все производственные мощности задействовались для строительства и развития промышленности. Всё остальное практически не производится и становится дефицитом.

Пророчество «железного Феликса» блистательно оправдалось – экономия и нехватка сопровождали нас всю эпоху развитого социализма. И вот уже ильфопетровский Галкин жалуется, что невозможно достать обычную кружку Эсмарха (грелку/клизму) для своего диковинного инструмента. *«Не то, что кружки Эсмарха, термометра купить нельзя!»* – поддерживает его стенания Палкин. И напрасно вопрошает мечтающий возвести частный домик Бендер: *«Где же я возьму камни, шпингалеты? Наконец, плитусы?»*. Даже всеведущий Коровьев в «Мастере и Маргарите» вынужден оправдываться перед прибывшей на бал королевой: *«Вас удивляет, что нет света? Экономия, как вы, конечно, подумали? Ни-ни-ни»*. И света, как мы помним, на бале у сатаны хватало.

В двадцатые годы прошлого века большевики оказались перед неразрешимой проблемой. Чтобы становиться передовой промышленной державой, надо восстанавливать и строить промышленность, а ресурсов нет и где их взять непонятно. Ну, ладно, если не хватает клизм или шпингалетов, хотя тоже вещи в хозяйстве нужные. Но металл, уголь, зерно! Острейшим образом стал вопрос о нехватке рабочих рук для рождающейся промышленности, и где эти руки могут вытянуть ноги после трудового дня, попросту говоря, жилищная проблема. Один кризис накладывался на другой – товарный на промышленный, промышленный на жилищный. Ведь, скажем, чтобы много строить, нужен металл, а его нет и закупить его не за что. Замкнутый круг.

Городское население нужно было где-то расселять, иначе растущую экономику работниками не обеспечить. Одна из крылатых фраз эпохи о том, что *«москвичи хорошие люди, но квартирный вопрос их испортил»*. Если присмотреться, то описание квартирных мучений занимают огромную часть советской литературы, причем написанную, как правило, талантливо, зло, искренне... Чувствуется, что художники слова на личном опыте испытали правду коммунальной жизни. Скажем, прототипом хрестоматийной комнатенки, где живут незадачливые молодожены из «12 стульев» Коля и Лиза, послужило общежитие газеты «Гудок» в Чернышевском переулке в Москве, где получил комнату И. Ильф в начале своего журналистского пути. В известном романе И. Эренбурга «Рвач» описан житейский ад, типичный для московского жилья той эпохи: «Квартира № 32, это рядовая московская квартира. На входной ее двери красовался длиннейший список фамилий с пометками: “звонить три раза” или “стучать раз, но сильно”, “два долгих звонка, один короткий”. Все двадцать семь обитателей квартиры

должны были, прислушавшись, считать звонки или удары, отличая долгие от коротких. Многие ютились в проходных комнатах... Жили, вопреки поговорке, и в тесноте, и в обиде, оживляя будни сплетнями, ссорами, скандалами».

В подобных условиях люди шли на чудеса изобретательности, дабы улучшить свои жилищные условия: *«Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном валу, без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную, разделив одну из комнат пополам перегородкой, – излагает Коровьев. – Засим эту он обменял на две отдельных квартиры в разных районах Москвы – одну в три и другую в две комнаты. Согласитесь, что их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем, как вы сами видите, шести комнат, правда, рассеянных в полном беспорядке по всей Москве. Он уже собирался произвести последний и самый блистательный вольт, поместив в газете объявление, что меняет шесть комнат в разных районах Москвы на одну пятикомнатную квартиру на Земляном валу, как его деятельность, по не зависящим от него причинам, прекратилась».* Извините за длинную цитату, но Коровьева оборвать на полуслове невозможно. Разумеется, на этом фоне весьма значительными, выпуклыми фигурами становились фигуры домоуправа, председателей домкома, жилтоварищества, начальника ЖАКТа (жилищно-коммунального товарищества). Целую плеяду таких образов обессмертил Булгаков – от Швондера и Бунши до Никанора Босого.

Вторым наиглавнейшим вопросом для работников, кроме крыши над головой, стало полноценное питание. Статистика утверждает, что здесь по мере укрепления НЭПа наблюдались изменения в лучшую сторону. К 1922 году 70 % зарплаты рабочего уходило на еду, а в 1924 на еду расходовалась лишь половина заработка. По сравнению с 1908 годом граждане употребляли больше молочных продуктов, сладостей, в полтора раза больше мяса (26). И вот о мясе особо.

Традиционное представление нашего человека о том, что без мясного полноценного питания не существует, вызывало особое раздражение официальной пропаганды. Газета «Московский пролетарий» (30.07.28) обличала неразумных: «Основным недостатком в питании отдыхающих является изобилие мяса... Рабочий никак не может примириться с мыслью, что употребление большого количества мяса бесполезно и не безвредно... Надо изжить вкоренившийся ложный взгляд на значение и роль мясных продуктов». Плакаты *«ОДНО ЯЙЦО СОДЕРЖИТ СТОЛЬКО ЖЕ ЖИРОВ, СКОЛЬКО 1/2 ФУНТА МЯСА»* и *«МЯСО – ВРЕДНО»* – отнюдь не выдумка Ильфа и Петрова.

Идеи вегетарианства, которые проповедовал Коля своей юной жене, считались вовсе не блажью, но модным и поощряемым поветрием. Впрочем, как мы помним, истинная причина Колиного вегетарианства была все-таки вынужденной: *«Куда идут деньги?» – задумывался он, вытягивая рейсфедером на небесного цвета кальке длинную и тонкую линию. При таких условиях перейти на мясоедение значило гибель...»* Когда продукт является дефицитным, отказ от него воспринимается как поза или подозрительное сотрудничество с властями. С этой точки зрения вегетарианство в СССР будущего не имело.

В рамках все того же вегетарианского просвещения масс государство старательно рекламировало сою, представляя ее чем-то вроде социалистической скатерти-самобранки. «С выставок на кухню. Институт сои изготовил 100 рецептов различных блюд из сои», – извещает «Правда» в августе 1930 года. На показательных обедах в Москве и Харькове осенью того же года фигурировало до 130 соевых угощений, в том числе суп, борщ, котлеты, голубцы, хлеб, пудинг, кофе. Сыры, салаты, паштет, шоколад, конфеты, торты, пирожные, пряники, печенье – все из сои. СМИ превозносят её питательные свойства (1 кг соевой муки = 3,5 кг мяса = 6 десятков яиц = 14 кружек молока); «Сейте жареное мясо и цельное молоко! Сейте бисквиты и яичницы!», – вызывают газеты (27).

Соевое поветрие симптоматично для первой пятилетки, когда продовольственные трудности стимулировали изыскание альтернативных источников питания. К. Симонов описывает один из запомнившихся эпизодов своей юности, что пришлось на конец двадцатых – начало тридцатых годов: «Когда не было много другого, хорошо уродилась на Нижней Волге соя, которую там вдруг стали культивировать, и мы ели каждый день эту сою – и в виде супов, и в виде котлет, и в виде киселей» (28). Л. Копелев: «Соевый кофе и соевые пирожные на сахарине продавали без карточек. Эти сласти и нарядные светлые столики на фоне темных прокопченных цехов казались нам живыми приметами социализма» (29). У Булгакова мальчик Альоша в «Театральном романе» измазан не чем-нибудь, а соевым шоколадом и т. д.

Продовольственные лишения заставляли граждан пускаться в поиск универсальных средств пропитания. Приведем в пример статью «Что можно получить от кролика» В. Одинцова («Огонек» 20.04.1930 г.): «Кроме мяса, кролик дает мех, пух, кожу, шевро, замшу, лайку, фетр, клей, струны, удобрение и корм для скота (внутренности и кровь) – одним словом, почти весь кролик может быть утилизирован. Но главным направлением для нас должно быть мясошкурковое». Заметим, что эта заметка опубликована уже после того, как весь Советский Союз узнал из знаменитого романа о кроличьей эпопее отца Федора. В общем, «кролики – это не только ценный мех...»

Неудивительно, что на фоне великой битвы за продовольствие, в своем повествовании о географических передвижениях Остапа Бендера соавторы особо отмечают продовольственную привлекательность местности по ту сторону Кавказского хребта: *«Путники шли над Арагвой, пускались в долину, населенную людьми и изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье»*. От себя добавим – совсем недавно присоединенное к СССР Закавказье, не знавшее ужасов всеохватывающей Гражданской войны и голода начала 1920-х годов; предприимчивое Закавказье, где, как мы помним из романа, царил изобилие контрабандной пудры «Коти», шелковых чулков и сухумского табака...

Еще одна важная примета двадцатых годов – «лишенец», человек, лишенный избирательных, да и всяких других прав. Статус, сравнимый с современными «негражданами» в Латвии. *«Пусти, тебе говорят, лишенец!»*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.